Людмила Улицкая

ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ

ЭКСМО

Людмила Улицкая

ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ

Рассказы

МОСКВА
ЭКСМО
2002

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
У 48

Оформление переплета
художника *М. Орловой*

Улицкая Л.
У 48 Первые и последние: Рассказы. — М.: Изд-во Эксмо, 2002. — 256 с.

ISBN 5-699-01522-1

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Л. Улицкая, 2002
© М. Орлова. Оформление, 2002
© ООО «Издательство «Эксмо», 2002

ОРЛОВЫ-СОКОЛОВЫ

С первого взгляда они как-то не читались, оба малорослые, не особенной внешности, занятые друг другом до полной замкнутости. Зато со второго взгляда открывалось, что они-то и есть самые главные. После второго взгляда даже было невозможно вернуться к первому и вспомнить, какое же они тогда производили впечатление. К тому же никто на факультете не помнил того времени, когда они еще не были вместе. Познакомились они еще на вступительных экзаменах, хотя сдавали в разных потоках. Зато, когда сдали экзамены, еще до окончательного объявления о зачислении, пока все абитуриенты считали баллы и полубаллы, они уехали вдвоем к нему на дачу и вернулись ровно двадцать первого июля, прямо к этой чертовой доске, возле которой трепетали все, кроме троих. Третьим лицом была

незначительная зубрила Тоня Колосова, племянница декана, о чем узнали впоследствии. Излишне говорить, что остальные двое были они, Андрей Орлов и Таня Соколова.

Их имена шли им удивительно, да и между собой они так быстро слепились, что очень скоро их стали звать Орловы-Соколовы.

За те пять дней, что они провели на даче, вылезая из постели, только чтобы сходить в поселковый магазинчик за вином и незамысловатой едой, они выяснили, что по пальцам можно пересчитать то, в чем они были несхожи: Таня слушала классику, Андрей любил джаз, он любил Маяковского, а она его терпеть не могла. И последнее, пожалуй, совсем смехотворное: он был сластена, а для нее лучшим лакомством был соленый огурец.

Во всех прочих пунктах обнаружилось полное совпадение: оба полукровки, евреи по материнской линии, обе матери — смешная деталь — врачи. Правда, Танина мать, Галина Ефимовна, растила ее в одиночку и жили они довольно бедно, в то время как семья Андрея была вполне процветающая, но это компенсировалось тем, что на месте отсутствующего отца наличествовал отчим, отношения

с которым были натянутыми. Поэтому семейное благосостояние и весьма обильные по тем временам материальные блага, через мать на Андрея изливавшиеся, унижали Андреево мужское, рано проснувшееся достоинство. С пятнадцати лет мальчик из профессорской семьи подфарцовывал на «плешке» и зарабатывал криминальные карманные деньги на женских часах типа «крабы» и американских джинсах, только-только начавших свое триумфальное шествие от Бреста до Владивостока.

В этой точке Андреевой исповеди Таня зашлась от смеха:

— Труд и капитал!

Ее бизнес лежал в смежной области, — в то самое время, пока он сбывал джинсы, она производила самостроковые рубашки типа «button down», пришивала к ним «лейбела», и, теоретически рассуждая, те самые молодые люди, которые уже доросли до джинсового уровня, должны были с неизбежностью столкнуться с проблемой «правильной» рубашки с пуговками о четырех — а не на двух! — дырочках на воротнике и петелькой на спинке.

Шила их Таня в три размера, без примерки. Если не отрываясь работала с утра до

вечера — обычно это происходило по воскресеньям, — то успевала «состроkать» четыре штуки. Четырежды пять — двадцать. С пятнадцати лет денег у матери не брала, перешла на самообслуживание.

А спорт? Да, спорт, конечно. Оба занимались. Андрей боксом, Таня гимнастикой. И оба бросили в одно и то же время, когда надо было решаться на профессиональную карьеру. Андрей успел получить первый разряд, стал кандидатом в мастера, вошел в сборную Москвы для юниоров, в мушином весе. Таня бросила чуть раньше, на подходе к первому разряду. Ей хватило.

В начале четвертого дня — или ночи — их совместной жизни они признались друг другу, что всегда предпочитали рослых партнеров: рост у обоих был никудышный, безнадежно левофланговый.

— Значит, я не в твоем вкусе? — хмыкнула Таня.

— Нет, не в моем. Мне всегда ужасные дрыны нравились...

— Да и мне тоже. И ты не в моем вкусе, — хохотала Таня.

В этой точке обнаружилась их прямоли-

нейная простота, с перебором даже. Можно было подумать, что оба они прошли огонь и воду и медные трубы. На самом деле кое-что было, но в ограниченном количестве, скорее даже обозначено... Однако все-таки опыта человеческого у них было достаточно, чтобы оценить те высокой пробы совпадения, какие бывают лишь у близнецов: все вдохи, выдохи, взлеты и падения, движения сквозь сон и минута пробуждения... Просыпались ночью и шли к холодильнику, — даже голод нападал в одно и то же время. И они вцепились друг в друга, слились воедино, как две капли ртути, и даже лучше, — потому что полное соединение убило бы ту прекрасную разность потенциалов, которая и давала эти звонкие разряды, яркие вспышки, смертельную минуту остановки мира и блаженной пустоты...

Счастливчики, которым принадлежало все: два маленьких спортивных тела, заряженные силой и молниеносными реакциями, острые и мускулистые мозги и самосознание победителя, еще не получившего ни единой царапины. И как глубоко это сидело в них — ведь оба ушли из спорта, именно подойдя к границам своих возможностей, за один шаг до не-

избежного поражения. Теперь оба готовились сражаться на новом поле научной карьеры, в лучшем учебном заведении, на одном из самых сложных факультетов. Любое море было им по колено, и, казалось, само море заранее согласилось покорно плескаться у колен и выбрасывать к их ногам всяческие жемчужины...

Первый курс был тяжелым и громоздким — несколько общих дисциплин, огромное количество лекционных часов, лабораторные. Все экзамены за первый семестр они сдали на «отлично», подтвердили свой высокий класс и получили повышенную стипендию.

К этому времени на курсе уже не было людей, которые относились бы к ним равнодушно: одних они раздражали, других привлекали, у всех вызывали интерес. Они даже и одеты были как-то особенно, не как все.

В каникулы Таня сделала первый аборт, грамотный, медицинский, с редким по тем временам обезболиванием. В сущности, это была их первая общая неприятность, и вышли они из нее без видимых потерь, еще более сплоченными. Мысль о ребенке даже не приходила в их высокоорганизованные головы, это был абсурд, а вернее, болезнь, от которой надо

поскорее избавиться. Мать Андрея, Алла Семеновна, женщина хорошая и без затей, принявшая деятельное участие в медицинском мероприятии, испытывала большее нравственное беспокойство, чем молодая парочка. Со своим вторым мужем детей они не нажили, и уж кто-кто, а Алла Семеновна знала, как удивительно сильна и капризно хрупка вся эта женская машинерия с микроскопическими просветами в тончайших трубочках, с розовым ворсистым эпителием, то жадно принимающим, то решительно отвергающим ту единственную клетку, из которой образовался и ее Андрей, и она сама, и тот ребенок, который будет когда-нибудь ее внуком.

Таня ей нравилась, хотя и пугала силой характера и независимостью. И еще тем, с каким доброжелательным равнодушием относилась к самой Алле Семеновне и ее знаменитому мужу, почти академику, Борису Ивановичу — как будто ей совершенно все равно было, как они к ней относятся.

— Они ведь, в сущности, очень между собой похожи, — делилась Алла Семеновна с мужем. — Они пара, Борис, пара.

Борис, поднимая скопческое белесое лицо

от газеты, соглашался, слегка деформируя высказанную женой мысль:

— Ну да, два сапога — пара.

Он не сумел полюбить Аллиного ребенка, да особенно и не старался. Крестьянскому сыну, восьмому в бедняцкой семье, претило это еврейское задыхание над детьми...

Что же касается Галины Ефимовны, от которой тоже ничего не было скрыто, она перед дочерью благоговела, никогда не пыталась ею руководить и только диву давалась, откуда у дочери такой сильный характер и яркие дарования.

Все-таки от Соколова, считала она, хотя в самом Соколове, давно ее бросившем, никаких таких достоинств она не замечала. Так или иначе, Галина Ефимовна месяца два тихонько плакала, поглядывала исподтишка собачьими глазами на дочь и все не могла понять, как это Таня в свои неполные девятнадцать лет ничего не боится, ничего не стыдится, и, когда Галина Ефимовна намекнула дочери, что, может, надо бы с Андреем отношения оформить, та холодно пожала плечами:

— А это еще зачем?

Каникулы, само собой разумеется, были испорчены. Вместо того чтобы поехать, как прежде задумывали, кататься на горных лыжах, просидели неделю на даче, с большой осторожностью раскрывая объятья. Происшедшая неприятность не имела для них никакого морального знака, но внесла известные неудобства, которых хотелось бы в дальнейшем избегать.

Тем временем снова началось ученье, и притом нелегкое. Первый семестр они занимались вместе, либо в библиотеке, либо у Андрея дома. Оказалось, что, хотя пятерки у них были одинаково круглые, голова у Андрея все-таки была побогаче — задачи он решал свободнее, интереснее, с большей внутренней подвижностью. Он не раз уязвлял Таню своим превосходством, и особенно остро именно тем, что удивлялся ее медлительности и косности. Привело это к легкой обиде с последующим примирением, но заниматься Таня стала отдельно, в своей коммуналке, с мамой под боком, при легком бурчании музыкальной программы.

Весеннюю сессию оба опять сдали на «отлично», и теперь их знали не одни только пер-

вокурсники — отметили и преподаватели: восходящие звездочки. Одного только не хватало им для блестящего будущего: оба пренебрегали общественной деятельностью, причем пренебрегали не тихонько, в пассивной, так сказать, форме, а каким-то заметным и обидным для остальных образом. В этом пункте у них тоже не было ни малейших разногласий: государство было препоганейшим, общество разложившимся, но в этом обществе им предстояло жить, а жить они хотели на всю катушку, то есть в меру своих незаурядных способностей.

Вопрос состоял в том, до какой степени им предстоит прогибаться под системой и где они сами проведут грань, дальше которой отступать не будут. Оба они состояли, между прочим, членами Союза коммунистической молодежи, совершенно произвольно полагая, что это и есть та последняя граница, дальше которой идти нельзя. Словом, все это были проблемы шестидесятников, возникшие не сами по себе, а просочившиеся к ним от людей типа Бориса Ивановича, бывшего фронтовика, человека честного, но осторожного, увлеченного в те годы атомной энергетикой, обещавшей мощь и процветание, а вовсе не

бедственный позор. Наука представлялась таким людям наиболее свободной областью жизни, в чем еще всем предстояло глубоко разочароваться. Солженицына уже читали по враждебному радио, самиздат ходил по рукам, и Таня с Андреем легко и победоносно входили в ту двойную жизнь, которой жили кандидаты и доктора разнообразных наук.

Отработав производственную практику, две звездочки укатили путешествовать в Прибалтику и полтора месяца плавали в холодном море, засыпали на белом дистиллированном песке под благородными соснами, пили отвратительный рижский бальзам и танцевали на опасных танцплощадках Юрмалы. Потом их принял Вильнюс, и Литва показалась им привлекательней Латвии, может быть, потому, что здесь они познакомились с интересной московской компанией, лет на пять их постарше, и из этого пляжного преферансного общения потом развились долгие дружеские отношения. До самого окончания института все Новые года и дни рождения уже проходили в этом новом кругу — молодого врача, начинающего писателя, физика из физтеха, уже ставшего тем самым, чем хотел стать со вре-

менем Андрей, молодой актрисы с восходящей, но так и не взошедшей окончательно славой, умницы философа, оказавшегося впоследствии стукачом, и супружеской пары, оставшейся в памяти как идеальная семья.

Осенью Таня сделала еще один аборт, все очень быстро и складно. Алла Семеновна на этот раз их пожурила, но все устроила. Таня была в их доме свой человек, и даже Борис Иванович, кроме дорогой своей Аллы и обеда ни на что не обращавший внимания, проникся к Тане симпатией: девка с головой. Из Америки, куда он поехал на какую-то конференцию, привез всем подарки. Тане — белые джинсы. Они были в самый раз, что удивительно. Довольная Танька крутилась перед зеркалом, Андрей, хмыкнув, пошутил:

— Черт возьми, теперь придется жениться...

Таня перестала крутить задницей, повернула свою маленькую голову на длинной, сужающейся кверху шее и сказала даже несколько надменно:

— Не придется...

Шел уже третий год их общей жизни, о женитьбе разговор не возникал за ненадобно-

стью: всеми преимуществами брака они в полной мере наслаждались, а недостатки, связанные с взаимной ответственностью и обязательствами, их не касались.

К этому времени Андрей уже уверенно шел впереди Тани, она за ним, в кильватере, на минимальном расстоянии и почти с этим примирилась. Оценки уже не имели такого значения, что на младших курсах. Теперь все распределились по кафедрам, по лабораториям, и уже появились первые публикации у самых активных. А кто выбрал себе более прямую карьерную тропу, те уже заседали в парткомах, месткомах и профкомах, протоколили, голосовали и распределяли путевки, или осетрину, или билеты на кремлевскую елку.

Тане Соколовой и Андрею Орлову ничего из того, что там распределялось, и задаром было не нужно. Все, что им было нужно, они уже имели. И даже научные статьи по одной на каждого, но в соавторстве, вполне, разумеется, честном, с заведующим лабораторией. Их совместность, несмотря на независимые научные статьи, все укреплялась, потому что оба они, против ожидания, выбрали тихую кафедру, а никакую не модную теорфизику или ядер-

ную. Кристаллография вольно располагалась на стыке физики, химии и даже математики. Таня возилась со спектрофотометрами, Андрей считал в Вычислительном центре по ночам на огромной вычислительной машине, которая в ту пору занимала целый этаж.

После четвертого курса было куплено четыре путевки в Болгарию на Золотые пески, и обе пары, молодые и старые, отбыли на отдых.

Отгуляв и отзагорав свое в Болгарии, в соседнем с родителями номере гостиницы, где с них не спросили никаких бумаг, кроме загранпаспортов без отметки о регистрации брака, они вернулись в Москву. Сделав очередной, ставший традиционным, осенний аборт, приступили к учебе. Галина Ефимовна на этот раз осмелилась высказаться в том смысле, что Андрей порядочная скотина. Таня этой темы не поддержала, но фыркнула:

— Сама разберусь, ладно?

Подошел последний год, замаячила аспирантура, и надо было набрать положенное количество очков, чтобы получить рекомендацию от той самой общественности, которую Орловы-Соколовы последовательно игнорировали. Танины псевдокожаные юбочки, сапоги до ко-

лей и прочую фурнитуру тоже нельзя было сбрасывать со счетов — это все тоже учитывалось некоторым отрицательным образом.

Толя Порошко, комсорг курса, третий угол треугольника, во всеуслышанье заявил, что готов все что угодно подписать, если в их рекомендациях будут написаны черным по белому слова: «В общественной жизни факультета никакого участия не принимает».

Толя был хохол из Западной Украины, после армии, злой красавец и дурак, к тому же с таким утонченным чутьем на кровь, что ни одному отделу кадров не снилось. Орловых-Соколовых он с первого взгляда расчислил. На своей формулировке он почти настоял, что автоматически означало, что ни в какую аспирантуру их не примут.

Однако Орловы-Соколовы подтвердили свое происхождение, проявив сатанинскую хитрость: выяснилось, что Андрей, получивший в свое время квалификацию судьи по боксу, оказывал судейские услуги на кафедре физвоспитания, а Таня, еще того хитрей, уже два года как вела гимнастический кружок в подшефной университету школе. Все с расчетом, конечно. Но спортивная кафедра напи-

сала им роскошные бумаги на бланке, свидетельствующие об их активном участии в общественной жизни. И Порошко утерся, а заодно и утвердился во всесильности жидомасонского заговора.

С кристаллами, со своей стороны, все обстояло как нельзя лучше. Занимались они входящей в моду симметрией, а там, в кристаллах, с симметрией происходили всякие восхитительные вещи. Андрей строил какие-то модели, их отражал, переворачивал, и в перелицованном виде, когда правое должно было стать левым, происходила всегда какая-то маленькая заминочка, тоненькое расхождение, которое разглядел когда-то заведующий кафедрой, и теперь это до безумия волновало Орловых-Соколовых, и они сидели до поздней ночи и работали не из корысти, а из азарта и страсти.

Оба аспирантских места, отнущенные на кафедру, вполне заслуженно были предназначены им. Все это знали. Однако в конце мая, уже после защиты дипломов, одно из мест у кафедры забрали. Заведующий, человек порядочный и умный, вызвал Орловых-Соколовых. Он ценил ребят и понимал, какое это

для них испытание. Он уже приготовил хорошее стажерское место в одном из академических институтов по той же тематике и, в сущности, под своим же крылом. И теперь он решил, что даст им выбрать, хотя сам бы предпочел оставить в аспирантуре Андрея.

Они выслушали, переглянулись и поблагодарили. Попросили дать день на решение. Молча дошли до метро. Оба понимали, что аспирантура будет Андрею, но каждый оставлял ход другому. Возле метро Андрей сдался:

— Выбирать будешь ты.

С виду это выглядело благородно.

— Я уже выбрала, — улыбнулась Таня.

— Вот и хорошо. Остальное будет мое.

Они друг друга стоили. Никто и бровью не повел.

На «Парке культуры» она боднула его стриженой головой в ухо, их тайным жестом, встала:

— Я домой...

— Мы же собирались... — Они действительно собирались вечером в гости.

— Я прямо туда приеду, попозже, — и вышла на своих высоченных каблуках.

Длинные носки ее туфель, Андрей знал,

набивались треугольными ватными затычками. Обувь всегда была ей велика, трудно было купить этот редкостно маленький номер.

Куцая стопа, глубокий шрам под коленом, узкая волосяная дорожка на плоском животе, большие соски, занимающие половину маленькой груди, руки и ноги коротковаты, пальчики тоже. Изумительно красивая шея. Чудесный овал лица...

Она ушла, унесла все с собой, а он поехал домой в дурном настроении, раздраженный, обиженный. Должна же она понимать, что он... Это было то самое, о чем они никогда не говорили.

Вечером они встретились у друзей. Было скучно. На Андрея напал приступ злого остроумия, и он несколько раз присадил хозяйку дома, отчего нисколько не стало веселее. Ушли поздно, недовольные. Андрей взял такси, поехали к нему. Квартира у Орловых была хоть и большая, но неудобная. Родители занимали две большие смежные комнаты, у Андрея была девятиметровка. Борис Иванович страдал бессонницей, а водопроводные трубы, подверженные эффекту Помпиду, начинали страдальчески реветь, если открыть кран. Помыться,

таким образом, после того как родители укладывались, было бы бесчеловечным.

В темноте, лежа вдвоем на узеньком диванчике, не оставлявшем места для обид, он заговорил с ней, как только почувствовал, что ему ни в чем не отказано:

— Ты дура, Танька. Я же мужик. Ты на меня ставь. Не пузырься. Я люблю тебя. У нас же все, все общее...

Она ничего не отвечала — общность их была наиполнейшая. Когда же она исчерпалась, Таня сказала грустным и пустым голосом:

— Кажется, я опять влипла.

Он зажег свет, закурил. Она укрылась от света в подушку.

— Ну вот мы и приехали. Я так считаю. Рожай. Девочку, ладно?

— Ага. Тебе аспирантура, а мне девочка с пеленками...

Она никогда не плакала. Но если бы заплакала, то именно сейчас. И он это понимал.

Таня оформилась на работу в академический институт, сделала аборт и собралась на юг. Андрей остался сдавать приемные экзамены в аспирантуру. Перед отъездом они подали заявление в загс. Андрей считал это

необходимым. Настроение все равно было паршивое. Каждый из них делал не совсем то, чего хотел, и раздражался в душе на другого.

Андрей провожал ее на вокзал. Ехала она не одна. Часть их компании уже была в Коктебеле, теперь ехали остальные, весело, с комфортом, взяв с немыслимой в те времена переплатой два отдельных купе.

Они поцеловались на перроне, и она поднялась на ступеньки вагона. Изогнувшись, она помахала ему рукой. Так она и запомнилась ему в эту последнюю минуту их совместной жизни: в красной мужской рубашке с не застегнутыми на запястьях пуговицами, с распущенным, бессмысленно длинным шарфом на тонкой шее... Это был ее собственный шик, она начинала носить что-то особенное, свое, — и все за ней повторяли.

Поезд уже тронулся, и он крикнул ей вслед:

— Смотри ты там в Витеньку не влюбись!

Это была постоянная шутка их компании. Начинающий писатель Витенька входил в моду, и девушки вились вокруг него густым роем.

— Если влюблюсь, немедленно сообщу! Телеграфом! — крикнула Таня, уже двигаясь в сторону юга.

К Орлову Андрею Соколова Таня больше не вернулась. Она позвонила ему десять дней спустя, ночью, разбудила Бориса Ивановича, который наутро Андрею высказал все, что он о нем думал. Но это значения уже не имело.

Таня сказала Андрею, что к нему не вернется, и вообще, неизвестно, вернется ли в Москву. И что сейчас она едет в совсем другой город. И вообще — привет!

Прекрасно понимая, что именно и почему это произошло, Андрей сказал сонным голосом:

— Спасибо, что позвонила, Тань.

Она немного помолчала в трубку и сдалась:

— Как экзамены?

— Нормально.

И опять она помолчала, потому что все-таки не ожидала от него такого хладнокровия:

— Ну, пока.

— Пока.

Трубку первым повесил он.

Алла Семеновна прибежала к Галине Ефимовне. Они были уже слегка знакомы, но не

испытывали друг к другу большой симпатии. Галине Ефимовне, вообще говоря, не нравился Андрей, а Алла Семеновна, заранее готовая к родственной дружбе, не увидев со стороны будущей тещи большого энтузиазма, надула губы. Борис Иванович к этому времени как раз выяснил в Академии насчет кооператива, и получалось довольно складно — квартиру можно было оформить на Таньку, раз она теперь тоже сотрудник Академии... И вдруг этот телефонный звонок, когда все уже решено и даже заявление подано... Андрей лежит целыми днями на диване и курит. Ну что же он, виноват, что место оказалось только одно?..

— Да Танька, с ее-то способностями, еще раньше Андрюшки защитится... — лопотала Алла Семеновна.

Галина Ефимовна только хлопала глазами: она не знала ни о телефонном звонке, ни об изменившихся Таниных планах. Она так искренне и глубоко огорчилась, что добрая Алла Семеновна с ней мгновенно внутренне примирилась. Да и что им было делить? Им предстояло вместе внуков растить, ну уж совсем было... Уговорились, что Галина Ефи-

мовна даст знать Алле Семеновне, когда Таня объявится.

...Объявилась Таня через несколько дней, по телефону. Объявила матери, что все отлично, что звонит не из Крыма, а из Астрахани. Слышно было плохо, Таня обещала написать длинное и сногсшибательное письмо. Галина Ефимовна попыталась прокричать что-то про Андрея, но тут прервалась связь.

«Вот именно, вот именно, прервалась связь», — думала Галина Ефимовна, и ей было страшно за Таню: как резко она движется, как неосторожно живет... Почему Астрахань? Зачем Астрахань?

Под Астраханью, в рыбачьем поселке, затерявшемся в плавнях, жили родственники писателя Витеньки. Отец его, заместитель директора чудесного заповедника Аскания-Нова, был из местных, выдвиженец, умер несколько лет тому назад, но осталась куча простоволосой родни. Свои первые рассказы и повесть Витенька и выудил в тех краях, в Ахтубе.

Поселок был браконьерским раем, царством рыбы и икры, мелкой воды и глухого тростника. Каждый пацан гонял на моторке,

как на велосипеде, и Таня со своим писателем, рванув мотор, улетали ранним утром к дальней песчаной отмели, выше по течению, и она только диву давалась, как в глухом тростнике, в неопределенных рукавах без опознавательных знаков он находил дорогу и вывозил ее каждый раз к длинному, в форме ложки с тонким черенком острову с круглым песчаным пляжем, черпающим волжскую воду.

Горячий желтый песок, несчитанные тысячи мальков на отмелях и новая любовь с этим огромным, под метр девяносто, человеком. Все устройство его было другое — и хорошо, и отлично, хотя не совсем впопад, не совсем в ногу, но это мелочи, потом отладится... Он все дивился ее малости, ставил на ладонь ее короткую ступню, и она терялась в его руке. Он был, несмотря на свои тридцать, довольно заезженный мужик, часто менявший женщин от небезосновательной неуверенности, а с этой малявкой он был гигант, и приключение их было острым: она как-никак бросила жениха. А оттого что Витенька прекрасно знал Андрея, симпатизировал ему как младшему товарищу, всегда проигрывал ему в преферанс и не раз в его доме напивался, все делалось еще острее.

И волосы еще не успели как следует отрасти на Танькином бритом лобке, как почувствовала она: снова забеременела.

«И вот теперь-то я рожу», — торжество радостной мести наполняло ее.

Почти месяц они с писателем провалялись на песке. Запах рыбы стал Тане невыносим, а картошка в этих местах была куда ценнее осетрины.

Он клал руку на ее втянутый живот — и куда же это все поместится? Ребенок-то будет большой! — беспокоился он.

То, что происходило внутри ее живота, его дико интересовало, и он уже любил то, что там, в животе, жило, и тревожился, и засыпал, укладывая всю Таньку себе на плечо и ладонью запечатывая щекотно покалывающий мускулистый вход и выход.

Они расписались в поселковом загсе в пять минут. Подружка двоюродной сестры заведовала этим скромным учреждением. Никакого заявления они не подавали, просто зашли с паспортами, заплатили рупь двадцать и получили брачное свидетельство и лиловую печать. День, конечно, был тот самый, на который было назначено ее бракосочетание с Андреем.

Мысль об Андрее Таня гнала прочь. При этом все время возникало: «О, не забыть сказать!»

Загоревшая, сбросившая обожженную кожу и снова загоревшая, Таня вернулась в Москву только к середине августа. Без всякого предупреждения она прямо с вокзала привела Виктора домой и объявила Галине Ефимовне:

— Мамочка, мой муж. Виктор.

Галина Ефимовна оторопела: «Ну Таня! Что хочет, то и делает!»

Он не был особенно хорош собой, этот муж: простонародное лицо, надвое надо лбом распадающиеся слабые волосы, грубые надбровья. Ростом был велик, что на маленьких женщин производит большое впечатление. Речь же его была неожиданно интеллигентная, держался он хорошо.

Галина Ефимовна с чайником отправилась на кухню и долго не возвращалась. Когда Таня пришла за ней и за чайником, мать горько плакала на скамеечке возле ванной: Андрюшку жалко!

Газ под чайником забыла зажечь.

Началась сложная и пешуточная жизнь.

Таня вышла на свою первую работу. В тот же день приехал в институт Андрей. Встретил. Он не знал, что Таня вышла замуж. Таня с Виктором общим друзьям ничего не сказали: брак пока был тайным.

— Пойдем куда-нибудь посидим, — предложил Андрей.

— А вот лавочка, — и Таня села на ближайшую лавочку.

Он сказал, чтобы она кончала валять дурака. Она сказала, что вышла замуж.

— За Витьку? — догадался он, потому что оба они одинаково понимали в законах симметрии.

— Да.

— Ну хорошо, тогда поедем к нему и заберем твои вещи, чтобы не оставалось никаких двусмысленностей, — предложил он так уверенно, что Таня на миг допустила, что именно это и сделает сейчас.

— Я беременна, Андрей.

— Это неважно. Сделаешь еще один аборт. Последний раз, — пожал плечами Андрей.

Это было уже на пределе.

— Нет, — мягко сказала Таня. — Больше не могу.

Он вытащил сигарету и закурил.

— И все это из-за говенной аспирантуры? — спросил он как ударил.

Но Таня слишком много и сама об этом думала. И более того, она уже знала, что скоро уйдет из этого института, что кристаллы ей были интересны, только пока рядом был Андрей, а теперь все это треснуло и обвалилось, и ей совершенно безразлично, по какой это причине в одной друзе кристаллы рождаются правовращающими, а в другой лево... Она еще не знала, что из двух мальчиков, которых она родит, один будет левшой... Странно, странно, восхитительно...

Там был какой-то сбой и случайность: если бы Андрей сказал ей: «Аспирантура твоя, а я иду в стажеры» — что, кристаллы остались бы живы?

Был в судьбе какой-то сбой, непорядок, но все уже произошло. И что теперь говорить!

И она встала, поставила палец ему на макушку и повела вниз, через лоб, к подбородку. Поставила там точку:

— Нет, Андрей, нет. Амур нердю...

В следующий раз они встретились через одиннадцать лет, на крымском берегу, в том же месте, куда приезжали в юности. Это были остатки их прежней компании, хотя физик уехал в Америку, идеальной супружеской пары уже не было, так как он погиб в автомобильной катастрофе, а у нее была другая, еще более идеальная семья. Зато были другие, вполне симпатичные люди. Через общих знакомых они знали заранее, что увидят друг друга в этот сезон.

Андрей был с женой и пятилетней дочкой, Таня — с двумя десятилетними близнецами, тощими очкариками, уже ее переросшими. Муж ее остался в Москве писать роман из жизни рыб. Про всех остальных животных он уже написал — такой у него был способ борьбы с действительностью, впрочем, весьма далекий от «Скотской фермы».

Таня меньше изменилась, чем Андрей. Он растолстел, что при его росте было непозволительно, стал доктором наук. Таня больше не носила бикини, а, напротив, носила закрытые купальники, потому что ее когда-то очаровательный живот был располосован грубыми советскими швами, оставшимися после

кесарева сечения. В остальном она была все та же: ходила по пляжу на руках, носила экстравагантные наряды и в туфли по-прежнему набивала комочки ваты.

Все были с детьми. Ходили в ближние и дальние бухты, учили детей плавать и играть в преферанс. Общались Андрей с Таней исключительно на людях, при большом стечении народа и не сказали друг другу ни одного человеческого слова. Таня время от времени ловила на себе тревожный взгляд Ольги, Андреевой жены, но это ее только забавляло. Ольга была высокая, с заметной фигурой, почти красавица, из породы милых дур. Он на нее время от времени цыкал, а она хлопала тяжелыми от туши ресницами и надувала губы. Девочка у них была прехорошенькая...

За несколько дней до отъезда все решили пойти с ночевкой в Чаечью бухту. Дети обожали такого рода развлечения. Таня заранее объявила, что не пойдет, но сыновья ее так просились, что идеальная семья взяла их с собой, на свою ответственность. Их сын, сверстник Таниных, очень убивался, что лучшие друзья не пойдут. Таня, уставшая от людей, решила провести сутки в одиночестве, отдохнуть

от беспрерывного трепа. Сговора никакого у них с Андреем не было, и она даже не знала, что он тоже остался, не пошел со всеми.

Отправив ранним утром детей, Таня весь день провалялась с Томасом Манном в душной комнате, засыпая, просыпаясь и снова засыпая. Только под вечер встала, вымылась под душем нагревшейся за день водой, побрила подмышки, сделала маску из переросшего хозяйского огурца, сварила себе кофе и села за садовым столом с чашкой. Тут и пришел Андрей:

— Танька, что делаешь?

— Утренний кофе пью. Налить чашечку? — непринужденно ему ответила и поняла, что весь месяц ждала этой минуты.

— Я кофе не пью. У меня от него в ушах шевелится, — была у них такая фразочка раньше. — Давай примем местных напитков...

И они пошли к бочке. Таня, болтая расстегнутыми рукавами белой мужской рубашки, была легкой и веселой. Они выпили алиготе, потом портвейна, потом липкого кокура, все оттягивая минуту, которая уже стояла за спиной.

Все снимали комнаты у хозяев, один Андрей жил по-генеральски, в маленьком отдель-

ном домике на территории военного санатория, у главврача, уступившего ему служебное помещение за большие деньги.

Они шли по набережной на расстоянии тонкого волоса друг от друга, разговаривая приблизительно о погоде, и тоненькая корочка над бездной еще держала их тела, но сильно прогибалась. Они уже обошли все бочки и шли к санаторию, а вовсе не к Таниному жилью. Вошли в служебный вход, по шуршащему гравию прямо к маленькому домику в розовых кустах. Дверь не заперта, свет не зажигается.

— Только умоляю: ни одного слова...

«О-о, как я забыла... за передними зубами металлическая скобка, зубы-то выбиты... нет, не забыла, язык сюда, под скобку...»

Бедный мой любимый дом, брошенный, отданный в чужие руки... крыльцо... и ступени, и двери... Стены твои, твой очаг... Что ты наделала... что ты наделал... Вместо теперешних трех мог быть один совсем другой. Или не один... что мы наделали...

Это не какие-то две глупые клетки рвутся навстречу друг другу для бездумного продолжения рода, это каждая клетка, каждый волосок, все существо жаждет войти друг в

друга и замереть, соединившись. Это единая плоть вопит о себе, горько плачет...

Горько и бессловесно плакала плоть до утра. Потом опомнилась. У них еще был целый день до вечера. Они поели и легли под мятую простыню. Таня провела пальцем от макушки до подбородка.

Андрей очень явственно видел, как это происходит: все возвращаются из бухты, собирают вещи, едут в Москву. Он отвозит своих домой, а сам съезжает на дачу с Танькой и ее мальчишками... Зимой холодно. Машина увязает в сугробах. Деревянной лопатой прочищает дорожку к воротам... Отвозит мальчиков в школу... Ольга с дочкой... совершенно непонятно, как... Тащит Верку в детский сад...

...Витька, конечно, съедет. И даже рад будет. Уйдет к какой-нибудь Регине. Трудно представить себе Андрея в нашем доме... Свой красный махровый халат он, наверное, уже износил... По утрам кофе не пьет, чай... Кристаллы, да, еще и кристаллы... Вот это, может, самое главное, с ними-то как быть...

И Танька этого хочет больше всего на свете, он это точно знал. Потому и молчал. И она молчала. И опять не выдержала она:

— Ну что?

Это можно было понять как угодно, например, пора сматываться...

Плоть уже закончила свои последние стоны. Какая у Ольги дивная фигура, грудь, талия, ноги... Нет, это не работает... Провел пальцем по Таниному лицу:

— Амур пердю, вставай...

Она легко вскочила, засмеялась, закрутила головой. Прежние короткие волосы шли ей больше.

— Нет, не обманешь. Не пердю.

— А хули толку, Таня?

Она надела белую рубашку, вскочила на высоченные каблуки и ушла.

Ольга наутро мела дом. Выбила веником откуда-то из угла ватный треугольничек:

— Что за гадость...

Андрей взглянул мельком: о, дура недогадливая... да и откуда ей знать, когда у нее тридцать девятый...

— Что-то отдых мне надоел... Может, отвалим пораньше, а? Скажем, завтра?

Ольга была сговорчива:

— Как хочешь, Андрюша...

ЗВЕРЬ

В один год ушли от Нины мать и муж, не для кого стало готовить, не для кого жить. Теперь она, как Ева из изгнания, смотрела в сторону своего прошлого, и все ей там, в прошлом, казалось прекрасным, а все обиды и унижения выбелились до полного растворения. Она даже ухитрилась забыть о том боевом перекрестье, на котором она стояла все одиннадцать лет своего брака, в огне взаимной ненависти двух любимых ею людей.

Теперь, по истечении времени, все это вспоминалось скорее как драма сложных характеров, а не как бытовое позорное цепляние, неприличные взаимные уколы, раздражение, доходящее до точки кипения, и яростные скандалы, случающиеся всякий раз, когда Нине удавалось свести их за белой скатертью в безумной надежде соединить несоединимое.

Никогда, никогда не жила Нина в раю, разве что в ранней молодости, когда она еще училась в консерватории, не знала Сережи и не случилось с ней ее первого несчастья. Но теперь все умерли, жизнь как будто свернулась кольцом и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья, прожорливо заглотило и пустынное настоящее, и лишенное какого бы то ни было смысла будущее.

Всеми мыслями и чувствами она была привязана теперь исключительно к покойникам, которые смотрели на нее со всех стен. Мама с арфой, мама в шляпке, мама с обезьянкой на руках. Сережа — мальчик с деревянной лошадкой, Сережа — школьник с прозрачным чубчиком, Сережа — яхтсмен с каменными плечами, предпоследний Сережа с осевшими на шею щеками, матерый, опасный, и последний — худое лицо, вмятые виски, в глазах не то сомнение, не то догадка. Или созревшая мысль, так никогда и не высказанная. И бабушка Мзия, умершая до Нининого рождения, с лицом старинным и суровым, в круглой девичьей шапочке под темным покрывалом, знаменитая исполнительница забытых теперь песен...

Почти два года прошло, как умерла мама, одиннадцать месяцев после смерти Сережи, а легче нисколько не делалось, становилось только хуже. Замучили сны. Не кошмары, а какие-то серые, на коричневом фоне вялые и блеклые картинки, такие трухлявые, что и сном не назовешь. Нина говорила себе в этом слабом сне: проснись, проснись, — но тусклая паутина теней не отпускала ее, а когда Нина наконец выбиралась оттуда, то выносила на белый день неописуемую тоску, злую, как зубная боль.

Нина наподобие кастрюли-скороварки проваривала в себе эти ночные переживания и, вконец измучившись, пожаловалась своим подругам. Подруг у нее было две: старшая, Сусанна Борисовна, — дама высокообразованная и мистически одаренная, даже состоявшая в антропософском обществе; и младшая, Томочка, — женщина простоватая, пугливая и такая богобоязненная, что за годы их дружбы Нина даже прониклась неприязнью к тому богу, который столь многого от нее требовал и ничегошеньки не давал взамен. И даже то немногое, что от рождения было Томочке дано, — бледноватая миловидность, — и то у

нее было отобрано: мать ошпарила ее в детстве, и правая щека ее сильно пострадала от ожога.

Обе подруги много помогали Нине в ее тяжелые времена, но друг дружку недолюбливали, ревновали. Смиренная Томочка, говоря о Сусанне, наливалась анемичной злостью — на более яркие чувства у нее не хватало темперамента, розовела и говорила шипучим голосом: «Она еще себя покажет, попомнишь мои слова, я прямо нутром чувствую ее бесовские дела...»

Сусанна Борисовна относилась к Томочке как будто снисходительно, только время от времени легонько высказывалась о Томочкином невежестве, о ее диких языческих заблуждениях и примитивности. К слову сказать, покойный Нинин муж обеих терпеть не мог — Тому считал убогонькой, а Сусанну Борисовну иначе как «мадам Грицацуева» за глаза не называл.

Примитивная Томочка, узнав от Нины о ее ночных страданиях, объявила, что будет о ней усиленно молиться, а ей, Нине, надо непременно причаститься, потому что все эти испытания насылаются на нее исключительно для богообращения...

Сусанна Борисовна, в некотором роде врач — у нее был косметологический кабинет, — выписала Нине транквилизатор и снотворное, а тяжелые сны объяснила неполным разрушением астральных тел ее дорогих покойников, неблагоприятными обстоятельствами их посмертного пути, рекомендовала Нине стать на путь самосовершенствования и оставила с этой целью редкую по своему занудству книгу про духовные иерархии и их отражения на физическом плане.

То ли лекарства помогли, то ли Томочкины молитвы, но первое время спать она стала получше, серо-коричневые тени больше не мельтешили, но, страшное дело, снился премерзкий запах. Она просыпалась от нестерпимой вони, наводящей ужас своей нездешней силой, потом засыпала снова. Появилось ощущение, что в доме кто-то есть: тень, призрак, недобрый дух... И эта вонь, ни на что не похожая. Вероятно, вроде тех химических веществ, от которых люди сходят с ума.

Через несколько дней приснившаяся вонь как будто материализовалась. Придя однажды с работы, Нина почувствовала резкий кошачий запах, отвратительный, но не выходя-

щий за рамки пристойного реализма. Своим длинным и чутким носом Нина скоро нашла эпицентр вони: это были домашние тапочки Сережи, которые все это время стояли возле двери в калошнице. Нина тщательно, с порошком, отмыла тапочки, но, вероятно, несколько особо въедливых молекул осталось, так что ей пришлось еще побрызгать в квартире дезодорантом. Но кошачий запах все равно пробивался сквозь лаванду и жасмин. Она позвонила Сусанне Борисовне и пожаловалась. Та помолчала, помолчала, а потом сказала неожиданно:

— Знаете, Ниночка, а вам необходимо бросить курить.

— Это почему же? — изумилась Нина.

— На вас идет мистическое нападение, Нина, а курение притупляет мистическое чутье, — пояснила Сусанна Борисовна. — В вашей квартире неблагоприятно...

Неблагоприятно — это самое малое, что можно было сказать об этой квартире. Проклятое место, трижды проклятое место, — душа ее с самого начала к ней не лежала. Сереже приспичило сразу же после смерти мамы объединить их небольшую уютную квар-

тиру на Беговой и мамину однокомнатную в эти хоромы, и отговорить его Нине не удалось. Он и слушать не хотел ни о последнем этаже, ни о протечках на потолке. В тот год дела его шли так хорошо, что плевал он на эту дырявую крышу и готов был над своей головой и крышу переложить. Такой уж был человек.

За полгода он сделал все точно так, как задумал: повалил стены, поднял в половине квартиры пол сантиметров на тридцать, превратив небольшую кухню и одну из комнат в трапезную, — и все жилище их представляло собой двухсветный зал, сквозняковый, холодный, а внутренняя дверь вела в большой совмещенный санузел — единственное любимое место Нины во всей квартире. Теперь она поставила туда маленький столик и по утрам пила кофе на табуретке между ванной и унитазом...

Эта проклятая квартира и съела Сережины силы, угробила его. Особенно ненавидела Нина камин. С технической стороны он не удался: дымоход был сделан кандидатом физ.-мат. наук, а не печником, — дым мгновенно наполнял всю квартиру и потом долго плавал

едкими клоками. Сергей так и не успел его переделать, потому что к концу ремонта уже начались анализы, диагнозы, консультации и больницы...

Всего полгода он проболел скоротечным раком и умер, оставив врачей в медицинском недоумении: он был съеден метастазами, а первичного источника они так и не нашли. Но для Нины это уже значения не имело. Она осталась совсем одна, а по своей физиологической природе одиночества выносить не умела, испытывала состояние обезумевшей мухи, у которой оторвали крылья: крутилась, кружила на месте, а мир проваливался под ногами или падал куда-то вбок... И теперь это наваждение...

Предсказанное Сусанной Борисовной мистическое нападение явило себя самым низменным образом в один из следующих дней. Придя с работы, Нина обнаружила в самой середине тахты, на бежевом вязаном покрывале, отвратительную кучу самого что ни на есть материального свойства. Вонь в квартире стояла столь скверная, что казалось, будто даже воздух в доме приобрел тот самый коричнево-серый оттенок нечеловеческой тоски,

который был знаком ей по сновидениям. Нина положила голову на руки, уронила свои грустные кавказские волосы и заплакала. Плакала она недолго, потому что пришла подруга Томочка. Томочка охнула, засуетилась, убрала кучу и объяснила ее происхождение:

— Форточки открытыми не оставляй, это к тебе с крыши какой-нибудь бездомный кот повадился.

— Какой еще кот? — возразила Нина.

— Какой, какой... Большой кот, очень большой кот нагадил, — уверенно разъяснила Томочка.

Она знала, что говорила, — всю жизнь была кошатница.

Нина постирала покрышку, вымыла полы, дышать стало полегче, но до конца запах не выветрился, и они пошли почевать к Томочке. Форточки перед уходом плотно закрыли.

На следующий день, когда Нина пришла после работы домой, куча лежала на прежнем месте, прямо на одеяле. Форточки по-прежнему были закрыты.

Действительно, мистика. Права была Сусанна Борисовна. Никакой кот в закрытую форточку не влезет.

Она снова принялась за стирку и мытье, вылила флакон дезодоранта и, трясясь от первого озноба, легла в осквернённую постель. К запаху она притерпелась, заснуть ей теперь мешали какие-то неясные, из неопределенного источника исходящие звуки...

«Именно так и сходят с ума», — догадалась Нина.

Утром, уходя на работу, Нина накрепко заперла форточки и балконную дверь.

Однако возвращаться домой одна она не решилась, заехала за Томочкой, и в девятом часу пришли вдвоем. Нина открыла сложный замок двойной двери, вошла. Следом за ней Томочка. Он их ждал, как будто решил, что пришла пора представиться. Сидел в кресле, огромный, самоуверенный, щекастой мордой к двери. Нина тихо ойкнула. Томочка даже как будто восхитилась:

— Ну и котяра!

— Что делать будем? — шепотом спросила Нина.

— Как что? Кормить, конечно.

— Ты с ума сошла? Он же никогда отсюда не уйдет! Вон, опять нагадил. — Новая куча лежала посередине прихожей.

Это был, конечно, характер. И точный глаз. Он всегда безошибочно выбирал середину.

— Сначала надо дать поесть, а там видно будет, — решила Томочка.

Он был не пушистый, а, напротив, совершенно гладкошерстный и как будто асфальтовый. Сидел неподвижно, опустив слегка голову, смотрел на них стоячим звериным взглядом и, судя по всему, виноватым себя не чувствовал.

— Каков наглец, — возмутилась Нина, но вынула из холодильника кастрюльку старого супа, который она, повинуясь многолетней привычке, все варила, бросила туда две котлетки и шлепнула на плиту.

Потом Томочка поставила миску с подогретым супом возле двери, прямо на половик, и позвала его «ксс-ксс». Человеческий язык был ему знаком. Он тяжело спрыгнул с кресла и медленно пошел к миске. Вид у него был внушительный. Если бы он был человеком, можно было бы сказать, что он идет как старый штангист или борец, ссутулившийся от тяжести мускулов, спортивной усталости и славы. Перед миской он остановился, понюхал, присел и, прижав к голове одно ухо —

второе, драное, висело лопухом, — начал быстро жрать. Томочка же просительным голосом увещевала его:

— Ты поешь, котик, поешь и уходи. Уходи, нечего тут тебе делать. Поешь и уходи себе, пожалуйста.

Он оглянулся, развернувшись широкой грудью, и посмотрел на Томочку очень сознательным взглядом, потом снова уткнулся в миску. Съев все, дочиста облизал миску. Тут Томочка открыла перед ним входную дверь и твердо сказала:

— А теперь уходи.

Он все отлично понял, обманно шагнул в сторону двери, потом резко развернулся возле калошницы и, сделав молниеносный полукруг по квартире, шмыгнул под книжный шкаф.

— Не хочет уходить, — тоскливо сказала Нина. — Напрасно мы его накормили.

— Ксс-ксс, — страстно шипела Тома, но кот не реагировал.

Нина вынесла из ванной швабру и зло сунула под шкаф. Кот вылетел оттуда, метнулся по квартире раз-другой, а потом исчез под диванчиком, придвинутым спинкой к кухон-

ному подиуму. Нина пошарила под диванчиком. Потом отодвинула его. Кота там не было. Он исчез. Подруги переглянулись.

Они постояли в молчании, переживая происшествие. Потом Томочка нагнулась и недоверчиво провела рукой по панели. Слегка нажала. Доска отошла. Это был лаз в плоский подпол, образовавшийся под кухней.

— Так вот где он у тебя живет, — обрадовалась простодушная Томочка, — а ты говоришь — мистика...

— Ужас какой... теперь его оттуда не выкурить...

— Надо немедленно забить доску, — с глупой решительностью вскочила Тома.

— Ты что, — собралась с умом Нина, — а если он там сдохнет? Представляешь, что будет? Дохлый кот в доме...

О, был бы жив Сережа, ничего бы этого не было... Всей этой глупости...

— Валерьянку надо купить, вот что! Мы выманим его валерьянкой и тогда забьем! — воскликнула Тома. — Только валерьянки нужно побольше.

Валерьянки купили много, налили полное блюдечко и затаились. Томочка оказалась на-

стоящим знатоком кошачьей души, через пять минут он вылез из-под отстающей панели, резво подбежал к блюдечку и вылакал его в один присест. А потом он пошел от блюдечка прочь, к своей дыре, раскачиваясь, как матрос на палубе. Потоптался, явно потеряв направление, нескладно развернулся и пошел к тахте, на которой затаились подруги. В Нине проснулись зачатки юмора:

— Сейчас закурить попросит...

Отсмеявшись, Томочка скомандовала:

— Все. Берем его и выносим. И немедленно забиваем дыру.

Она снова зашипела свое «кес», протянула к коту руки, но он метнулся в сторону. Нина подхватила его, он вывернулся и грузно шлепнулся об пол. Пьян-то он был пьян, но в руки не давался. Кот, судя по всему, пытался пробиться к дыре. Нина, как Александр Матросов, кинулась на амбразуру, прижала отошедшую доску своими голубоватыми пальцами.

— Тома, коробку в ванной возьми! — крикнула она, но кот как будто понял их замысел и решил отступать к балкону. С каждой минутой он делался все пьяней. — Дверь! Дверь балконную закрой! Он упадет оттуда!

Тома опередила кота, закрыла перед его носом балконную дверь, и не без труда они запихали его в картонную коробку из-под соковыжималки. Он орал низким голосом что-то ругательное и, может быть, даже матерное... Они выволокли коробку на двор, положили ее возле мусорного контейнера и открыли крышку. Он продолжал орать благим матом, но не вылезал. Женщины поспешили домой забивать дыру. И устроили себе маленький праздник по поводу освобождения от врага — выпили хорошего грузинского вина. Но ликовали они, как потом выяснилось, преждевременно.

Особая сила этого приходящего кота состояла в том, как легко он превращался из хамской скотины, позволяющей себе то, чего ни одна, даже слабоумная, кошка не позволяет в доме, в бесплотный призрак, как беспрепятственно он шмыгал между Нининым сном и ее обыденной жизнью, оставляя и там и тут смрад, страх и особого рода кошачесть, которая как будто отрывалась от него самого и растекалась, оседая на вещах и проникая в Нину через воздух, через поверхность ее тела так глубоко, что она изводила флаконами шам-

пули и мыла, чтобы отмыть эту всепроникающую гадость. Сам он больше не появлялся, зато теперь снился почти каждую ночь, искусно меняя свой облик, но Нина научилась распознавать его в темном облаке, наползающем из угла, в ландшафте, имеющем к нему несомненное отношение, и даже в господине, которого она различала в толпе, как в прежние времена тайного агента.

Сусанна Борисовна, информированная о всех этих перипетиях, собиралась в Германию на коллоквиум или симпозиум и обещала Нине, что непременно обсудит эту ситуацию с самым компетентным специалистом во всей Европе.

Однажды ночью кот снова явился во плоти. Каким образом он проник в квартиру, осталось неизвестным. Лаз был забит, балкон и форточки закрыты, камин был вне подозрений, поскольку его прямой дымоход выходил непосредственно на крышу, и ни один кот, если он не насекомое, не смог бы преодолеть три с лишком метра абсолютно вертикальной трубы. Тем более что к устью камина был придвинут экран. Вероятно, чтобы обнаружить тот потайной ход, которым воспользовался

кот, надо было бы разобрать весь этот старый дом. Кот влез на высоко подвешенную полку, накренил ее и сбросил таким образом всю тонкостенную черную керамику, чудо грузинского прикладного искусства, собранную Ниной еще в студенческие годы. Справившись с ужасом конца света, пережитым ею еще во сне, на фоне звенящего тусклым черным звоном обвала, Нина зажгла лампу и увидела, что пол завален черепками, а кот, не успевший раствориться одному ему известным способом, забился в угол и скалился оттуда наподобие цепной собаки. Это было столь мягкое продолжение ее кошмара, что она не сразу поняла, где находится — в новом сне или в собственном доме...

Нина собирала черепки и, не поворачивая головы, слабо причитала:

— Ну что ты за скотина такая... откуда такие бандиты берутся... зачем ты ко мне приходишь, что тебе надо, скажи...

Потом она вынула из холодильника полкурицы и вынесла на лестничную клетку:

— Иди ешь, и чтоб я тебя больше не видела!

Еды он, собственно, не требовал. Но и не отказался. Лениво пошел за курицей. Нина закрыла за ним дверь. Она отлично понимала, что так просто он ее не оставит.

Через четыре дня он появился снова. Сидел в кресле как ни в чем не бывало, вроде бы на своем месте, а на середине бежевого покрывала, вымытого, выветренного на балконном воздухе, лежал убедительный знак его, кота, господства и над этой квартирой, и над самой Ниной.

Тем временем вернулась из Германии Сусанна Борисовна, позвала Нину в гости. Была Сусанна Борисовна на этот раз какая-то утихшая, благостная, в доме у нее пахло благовониями и богатством, горели свечи. На ужин она подала сущую ерунду, Нина бы постеснялась к такому столу звать человека. Зато сама Сусанна Борисовна была как вдовая королева: в лиловой одежде наподобие мантии, голова повязана фиолетовым шарфом в виде тюрбана, грим темный и такой уродливый, что заподозрить ее в кокетстве было никак невозможно. Поели синего салата из красной капусты, потом выпили бордового чая из шиповника, все в гамме, а потом Сусанна Бори-

совна объяснила Нине такую вещь, которая никому другому и в голову не пришла бы. Она подчеркнула, что это не только ее личное мнение, но и особое видение ее учителя. Получалось, что перед человеком ставятся определенные задачи, которые необходимо решать, и высшие силы, ангелы и прочие, а одновременно и здешние учителя, эти задачи решать помогают. Однако если человек противится, то задачи эти трансформируются во что-то кошмарное вроде болезни или, например, кота. И Нинин же кот есть на физическом плане проявление духовного неблагополучия, но возможно даже, что не в самой Нине дело, а, наоборот, в отношениях тех родственников, которые уже ушли...

— Это очень серьезно, Нина, требуется большая работа, я готова и сама вам помочь по мере возможностей, и познакомить вас с продвинутыми людьми, — заключила Сусанна Борисовна.

От этого разговора и от всей этой лиловости Нина почувствовала себя еще хуже и даже подумала, не сходить ли ей действительно с Томочкой в церковь, все-таки была она человек православный, крещена во младенчестве

в старинном тбилисском храме святой Нины, и даже крестные родители имеются...

Опять Нина ночь не спала, и таблетки не помогали.

На следующий день Миркас, начальник Нины и друг покойного Сережи, велел зайти к нему после обеда. Он взял ее к себе в контору после смерти Сергея, платил хорошие деньги, хотя, когда брал, понятия не имел, как точна и аккуратна Нина в любой работе, а в делопроизводстве вообще царь и бог.

Он вызвал ее — и она забеспокоилась, не допустила ли какой оплошности. На прошлой неделе проходил очень сложный контракт, и она вполне могла что-то напутать. Но когда она вошла к нему в кабинет, он ее сразу ошарашил:

— Слушай, Нина, ты не больна? У тебя вид ну никакой...

Прежде они были на «ты», но теперь Нина старалась при разговоре строить фразу грамматически неопределенно, чтобы никак не обозначать их новые служебные отношения. Слишком давно они были знакомы, чтобы переходить обратно на «вы».

— Все ничего. Бессонница у меня.

Он осмотрел ее товароведческим взглядом: она была не в его вкусе, но, бесспорно, очень стильная. Худая, с ранней откровенной сединой, всегда в черном... Конечно, длинный подбородок, впалые щеки, круги под глазами — но ведь есть, есть в ней что-то...

— Любовника заведи, — хмуро посоветовал он.

— Это служебное распоряжение или дружеская рекомендация? — Взгляд опустила, а подбородок вверх тянет.

Дура, гордячка.

— Бессонница — тоже болезнь. Может, тебе отдохнуть надо? В Тунис, на Канары, куда там девушки отдыхать едут? Фирма оплачивает... Возьми неделю, десять дней. На тебя смотреть невозможно. — Он говорил не то раздраженно, не то брезгливо, а Нина все выше задирала подбородок.

Потом он скривился, сморщился и сказал хорошим человеческим голосом:

— Ну че, че у тебя случилось?.. Какие проблемы?

И тут гордая Нина закапала глазами:

— Ой, Толечка, не поверишь... Кот замучил...

Сбивчиво и путано Нина рассказала всю историю. По мере того как он слушал, сочувствие его, видимо, улетучивалось, и к концу рассказа он обычным своим начальничьим голосом отрубил:

— Значит, так. Как только появится, сразу звони мне на пейджер. Я с ним разберусь.

Слухи про Миркаса ходили такие, что разборки он производить умеет.

Возможно, до кота эти слухи тоже докатились, потому что он на глаза несколько дней не показывался, хотя своим вниманием Нинину квартиру не оставлял. Как-то, уйдя на работу, Нина не затворила дверцу шкафа, и подлец, конечно, воспользовался ее оплошкой, нагадил в шкафу. Бедной Нине пришлось волочь весь свой немалый гардероб в чистку, но и после ей все чудился кошачий запах, и это было ужасно.

Но все-таки настал день, когда кот как ни в чем не бывало встретил ее в кресле. Она сразу же позвонила Миркасу. Миркас приехал ровно через двадцать минут, и все это время глубоко подавленная Нина просидела в ванной на табуретке.

Ни слова не говоря, Миркас направился к креслу. Но эти ребята оказались равными противниками: Миркас схватил кота за шкирку, а тот вцепился ему в руку. Раздался утробный рык, и совершенно непонятно было, кто его издал.

— О Господи! — ахнула Нина, увидев располосованную руку.

— Балкон! — рявкнул Миркас, и Нина, забежав вперед, открыла балконную дверь.

«И что толку? — успела подумать Нина, не поняв намерений Миркаса. — Все равно опять придет».

Окровавленный Миркас держал кота за шкирку, а кот драл его всеми четырьмя. Нина в ужасе прижалась к двери — крови она не выносила. Прохрипев тихое зловещее ругательство, Миркас размахнулся и швырнул кота через балюстраду балкона. Нина отчетливо уловила мгновение, когда кот после броска взлетел немного вверх, расправляя на ходу передние лапы и пригнув голову, потом как будто замер в позе космонавта в открытом космосе — и исчез из виду. И сразу же внизу раздался звук, как будто выплеснули таз воды. В темноте двора ничего видно не было.

Пока травмированная Нина промывала Миркасу рваные раны, тот только покачивал головой:

— Ну, зверюга... Таких отстреливать надо...

Вид у Миркаса был такой, будто он только что старушку топором зарубил.

Нина проспала всю ночь как убитая. Выспалась впервые за долгое время. Однако уже перед самым выходом из дому вдруг ужаснулась: а если мертвый кот лежит под ее балконом, как же она мимо пройдет?.. Хотя про кошек известно, что они умеют на лету равновесие держать, крутят хвостом как пропеллером и на все четыре лапы приземляются...

Но возле дома никакого мертвого кота не было, и вообще никого не было. Нина вышла из своего Чистого переулка и пошла в сторону Зубовской площади...

Кот, на время или навсегда, исчез. Настроение же у Нины делалось все хуже. Вероятно, Миркас его все-таки убил, и хотя кот был, конечно, большой подлец, но смерти ему Нина не желала. Хотела только, чтобы он исчез. Но теперь, после всего этого кошмара, казалось, наступило облегчение, а Нина, при-

ходя с работы, как будто немного ждала, что эта поганая скотина сидит в ее кресле...

Тем временем приближалась годовщина Сережиной смерти. Принять надо было человек тридцать, и не как-нибудь, а по-хорошему. Миркас тоже про годовщину помнил. Всю неделю он ходил злой как черт, рука у него нарывала, кололи антибиотики, однако, проходя мимо Нининого стола, положил перед ней конверт:

— В ресторан зовешь или дома устраиваешь?

Гордость Нинина страдала ужасно — при Сереже ее так не унизили бы... Но опомнилась от приступа несуразной гордости, отвела свои бесподобные волосы с лица:

— Спасибо, Толя.

И купила еще поросенка, и угрей, и полкило икры...

Рано утром Томочка отправилась в церковь, заказала панихиду. Нина в церковь не пошла — Сережа всего этого при жизни терпеть не мог. Она поехала на кладбище. Повезла цветы. Памятник уже стоял, еще ранней весной Нина все устроила: большой черно-серый камень, грубый и простой...

Вечером все получилось как нельзя лучше — столы богатые и красивые, как Сергей любил. Пришли все, кого Нина хотела видеть: Сережины друзья, и его двоюродный брат с семьей, и одинокая золовка, которая Нину недолюбливала, и Миркас пришел со своей старой женой, неизбалованной Викой, а вовсе не с теми новенькими, которых у него столько развелось в последнее время, и Нина была этому рада. Пришел даже адвокат Михаил Абрамович, который защищал Сережу в давние времена, когда случились с ним большие неприятности. Адвокат с тех пор стал очень знаменитым, по телевизору постоянно выступал, а про годовщину не забыл... Все говорили про Сережу хорошие слова, отчасти даже и правдивые: о силе его характера, о смелости и мужестве, о таланте. Правда, сестра его Валентина ухитрилась как-то вставить, что Нина детей ему не родила. Но Нина и бровью не повела — это место в своей жизни она давно уже оплакала. И ему простила, что заставил ее, дуру, без памяти влюбленную... Вот мама никогда не простила. Да и что теперь об этом вспоминать, в тридцать-то девять лет...

Гости ушли поздно, унося в животах не-

слыханное Нинино угощение и оставив после себя не до конца утративший парадную красоту стол и запах дорогих сигарет. Нина отправила Томочку домой: она захмелела, как школьница, и все поровила высказать что-то свое особое, про Бога, отчего всем становилось неловко. Оставшись одна, Нина все убрала не торопясь, привычным образом разговаривая про себя с Сережей... Но он, привычным же образом, как и при жизни бывало, ничего не отвечал.

Легла она около четырех в чистую холодную постель, в клетчатое сине-зеленое белье, купленное в Берлине, куда они ездили с Сережей три года тому назад, в последнюю их совместную поездку. И хотя на этот раз она не приняла никаких таблеток, сразу же, как только согрелась, уснула и спала глубоко, гуляя глазными яблоками под темными веками, а под утро, когда начали оживать и тихонько шуметь от первого ветра ветви большой липы, прикасающиеся к перилам балкона, ей приснился сон, самый удивительный сон в ее жизни.

Она стояла на верхнем этаже по-дачному большого дома, который был еще не достроен, потому что сверху были видны помеще-

ния нижнего этажа, какие-то балки, лестницы, и все это в несколько уровней, не совсем точно обозначенных, и вдруг она услышала пение. Женский голос пел старинную грузинскую песню. Бабушка, догадалась Нина и сразу же увидела ее. Она сидела на маленькой табуретке, с которой свисала коричневая кисть положенной на нее подушки. Черная шапочка была надвинута на лоб, а темная ткань падала вдоль светлого лица. Она пела, но рот ее был сомкнут, губы неподвижны, и Нина опять очень легко догадалась, что это иное пение, не голосовыми связками образуемое, а другим органом, к горлу не имеющим отношения, но без которого вообще никакое пение невозможно. И как только она догадалась, из какой точки солнечного сплетения исходит пение, она услышала, что песня разделилась на два голоса: низкий, бабушкин альт, и второй, сопрано, ее потерянное сопрано, ее невозвратимое счастье, но даже еще лучше, чище и шелковистей, чем было у нее, когда еще она училась в консерватории. И звук возвращенного и обновленного голоса имел какую-то иную природу, потому что он притягивал к себе, как магнит притягивает желе-

зо, и светлый недостроенный дом стал вдруг заполняться людьми, среди которых не было незнакомых, хотя по имени Нина знала не всех. Это были они, серо-коричневые тени, но от звуков этого неведомого пения они осветлели и проявились, как на фотобумаге, и вот среди них она различила сначала маму, а потом и Сережу.

Нина спустилась к ним по лестнице в тот момент, когда они узнали друг друга в толпе и обнялись, как будто один ждал другого на перроне и поезд наконец пришел. Мама, худая, очень молодая, еще укрытая Сережиным широким объятием, вдруг увидела ее, засмеялась и закричала: «Нинико!»

Но звук маминого голоса был не сам по себе, он тоже был частью этой грузинской песни, хотя песня уже перестала быть грузинской, и слова ее, при полной их понятности, были на другом языке.

Сережа обхватил Нину за плечо, и запах его кожи, его волос обжег ее, и она видела, что и его ноздри напряглись и он опустил голову к ее волосам.

Кто-то легко пнул ее под колено, и она, оглянувшись, увидела огромного кота, кото-

рый терся о ее ноги, требуя ласки. Это был он, треклятый кот, который попортил ей столько крови. Сергей нагнулся и погладил его по асфальтовой спине. Мама жестом родственной приязни поправила на Сереже загнувшийся борт пиджака... Но этого было мало: откуда-то сбоку, взявшись под руку, шли ей навстречу две ее подруги — Томочка и Сусанна Борисовна. И у них были такие прекрасные лица, что Нина, смеясь, поняла: прежде-то они обе были ужасные идиотки, но это было только временно...

ПИКОВАЯ ДАМА

Наташе

Разница в возрасте Мур и Анны Федоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину. Неизвестно почему — то ли колесики в мировом часовом механизме поистерлись, то ли зубчики съелись, — только время стало катиться ускоренно, то и дело впадая в мерцательную аритмию, и так получилось, что по ходу движения этого ущербного времени, тридцать лет — если поместить их между шестьюдесятью и девяноста — уже почти ничего не значили. Анна Федоровна только замечала, что быстрые дела делаются все медленнее, но зато и на сон стало уходить меньше времени.

Проснулась она рано, если не сказать среди ночи, — четырех еще не было — от дурного сна. Взрослый мужчина, уменьшенный до размера большой куклы, лежал в ящике пись-

менного стола и жаловался: «Мамочка, как же мне здесь плохо...»

Это был ее сын, и сердце ее сжалось от горя: ничем она ему помочь не могла...

Сына же на самом деле никакого не было, была дочь, и проснулась она в ужасе оттого, что сон был сильнее яви, и в первую минуту после пробуждения она была уверена, что сын-то у нее есть, но она про него совершенно забыла. Потом она зажгла свет, при свете наваждение рассеялось, и она вспомнила, что с вечера ей пришлось долго лазать по ящикам письменного стола в поисках некоторой потерянной бумаги, и от этих поисков и завязался дурацкий сон.

Анна Федоровна полежала немного и решила вставать, тем более что бумажку ту она вчера так и не нашла.

Теперь бумага отыскалась сразу же. Это был отзыв на диссертацию, который она давала лет десять тому назад, и теперь он вдруг понадобился.

Весь дом спал, и это было блаженство, не то дарёное, не то краденое. Никто ничего от нее не требовал, нежданно-негаданно образовались свои личные два часа, и она теперь при-

кидывала, на что их потратит: книжку ли почитает, которую подарил ей давний пациент, знаменитый философ или филолог, то ли письмо напишет в Израиль задушевной подруге.

Она прибрала воробьиного цвета волосы и накинула старую кофточку поверх халата. Домашняя одежда ей всегда была не к лицу, в халате она выглядела дачной хозяйкой из пригорода. Считалось, что ей шли костюмы, которые она носила со студенческих лет. Теперь, в сером ли, в синем, она выглядела профессором, что полностью соответствовало действительности.

Анна Федоровна сварила себе кофе, раскрыла литературоведческую книжку своего знаменитого пациента, приготовила лист бумаги для письма и поставила рядом с собой синюю вазочку с конфетами, которых себе обыкновенно не позволяла. Она вдохнула с удовольствием запах кофе, но глотнуть не успела: на кухню, поскрипывая колесиками своей ходильной машины, с прямой, как линейка, спиной, явилась Мур.

Анна Федоровна первно проверила пуговицы на кофточке — правильно ли застегнуты. Предугадать, что именно она сделала не

так, она все равно никогда не умела. Если кофточка была правильно застегнута, значит, чулки она надела кошмарные или причесалась не так. А что не так, если она всю жизнь проносила одну и ту же косу, свернутую колбаской на шее. Впрочем, утреннее замечание могло касаться чего угодно: занавески, например, грязные или сорт кофе отвратительный, пахнет вареной капустой... Удивительна была лишь свежесть, с которой Анна Федоровна реагировала — извинялась, оправдывалась. Иногда даже пыталась опровергнуть замечание, но всегда потом себя ругала. К хорошему это не приводило, Мур только поднимала еще выше свои от природы высоко нарисованные брови, так что они прятались под розово-русой челкой, медленно двигала длинными веками и неодобрительно смотрела на Анну Федоровну глазами цвета пустого зеркала.

На этот раз, выкатившись на середину кухни, Мур молчала. Черное кимоно висело пустыми складками, как будто никакого тела под ним не было. Только желтоватые костяные кисти в неснимающихся перстнях да длинная шея с маленькой головой торчали, как у марионетки.

Всю жизнь, сколько себя помнит, Анна Федоровна заранее готовилась к общению с матерью. В детстве она замирала перед ее дверью, как пловец перед прыжком в воду. Ставши взрослой, она, как боксер перед встречей с сильнейшим противником, настраивалась не на победу, а на достойное поражение. В это предутреннее время мать захватила ее врасплох, и, не подготовив себя заранее, она впервые увидела ее отстраненно, как будто чужими глазами: перед ней стоял ангел, без пола, и без возраста, и почти без плоти. Живая одним духом. Но каков был этот дух, Анна Федоровна знала преотлично. Зажимая в руке новенькую книжку, дух произнес:

— Какая глупость понаписана в этих воспоминаниях! Кто мне их подсунул... В шестнадцатом году мы еще жили с отцом в Париже. Я была девчонка. Диадему Каспари мне подарил в двадцать втором, я тогда была за ним замужем, а проиграла я ее в двадцать четвертом в Тифлисе. И никакого Каспари уже тогда не было, я была уже с Михаилом. Он был великий музыкант, — она хихикнула тонко и многозначительно, и Анна Федоровна поежилась, потому что дальше шла обыкновен-

пая площадная лексика, и матери доставляло удовольствие именно это поеживание. — А вот вые...ть он никого толком не мог, — Мур нежно засмеялась, — с херакой у него обстояло из рук вон плохо. Там, в Тифлисе, я проиграла эту диадему в карты, а портрет, который Бакст писал, там диадема совершенно другая, какая-то ерунда, театральный реквизит...

Это была лучшая страница ее воспоминаний — ее знаменитые любовники. Имя им было легион. Немало бумаги было измарано в честь ее бледных локонов и неизреченных тайн души лучшими перьями, а по ее портретам, хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать художественные течения начала века.

Тайна в ней, должно быть, действительно была, не одни только любовники млели над ней. Анна Федоровна, единственная дочь Мур, дитя ее редкой добродетельной причуды, всю жизнь билась над этой загадкой. Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами и даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между полами? Кроме обыкновенных мужчин с са-

мыми простодушными намерениями в нее постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты и сбившиеся со скучной женской дороги решительные лесбиянки. Ответа на этот вопрос Анна Федоровна найти не могла, но, подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную материнскую прихоть. А Мур, как беременной женщине, постоянно хотелось чего-то неизвестного, неопределенного — словом, поди туда, незнамо куда, и принеси то, незнамо что.

Люди, оказывавшие хоть какое-то сопротивление ее нечеловеческому обаянию, просто исчезали из виду: давно всеми забытый муж Анны Федоровны, муж внучки Кати и вся родня последнего мужа Мур... Их как бы и не было.

— У тебя кофе, — положив лживый томик перед Анной Федоровной, повела тонким носом Мур.

Пахло приятно, но ей всегда хотелось чего-то другого:

— Я бы выпила чашечку шоколада.

— Какао? — Анна Федоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже посожалеть о неудавшемся мелком празднике.

— Почему какао? Это гадость какая-то, ваше какао. Неужели нельзя просто чашечку шоколада?

— Кажется, шоколада нет.

Не было в доме шоколада. То есть был, конечно, — горы шоколадных конфет в огромных коробках, преподнесенных пациентами. Но ни порошка, ни плиточного шоколада не было.

— Пошли Катю или Леночку. Как это, чтобы в доме не было шоколаду?! — возмутилась Мур.

— Сейчас четыре часа утра, — попыталась защититься Анна Федоровна. Но тут же всплеснула руками: — Есть же, Господи, есть!

Она вытащила из буфета непочатую коробку, торопливо вспорола хрусткий целлофан, высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки. Мур, пришедшая было в боевое настроение, при виде такой находчивости сразу же угасла:

— Так принеси ко мне в комнату...

Осторожно обернув руку толстой держалкой, Анна Федоровна грела молоко в маленьком ковшике. Руки она берегла, как певица горло. Было что беречь: нешироkая кисть с

толстыми длинными пальцами, с овально подстриженными ногтями в йодистой окантовке. Каждый день запускала она вооруженные манипулятором руки в самое сердце глаза, осторожно обходила волокна натягивающихся мышц, мелкие сосуды, циннову связку, опасный шлеммов канал, пробиралась через многие оболочки к десятислойной сетчатке и этими грубоватыми пальцами латала, штопала, подклеивала тончайшее из мировых чудес...

Золоченой маминой ложечкой она снимала тонкую молочную пенку с густого шоколада, когда раздался звон колокольчика: Мур подзывала к себе. Поставив розовую чашку на поднос, Анна Федоровна вошла к матери. Та уже сидела перед ломберным столиком в позе любительницы абсента. Бронзовый колокольчик, уткнувшись лепестковым лицом в линялое сукно, стоял перед ней.

— Дай мне, пожалуйста, просто молока, безо всякого твоего шоколада.

«Раз, два, три, четыре... десять», — отсчитала привычно Анна Федоровна.

— Знаешь, Мур, последнее молоко ушло в этот шоколад...

— Пусть Катя или Леночка сбегают.

«Раз, два, три, четыре... десять».

— Сейчас половина пятого утра. Магазин еще закрыт.

Мур удовлетворенно вздохнула. Узкие брови дрогнули. Анна Федоровна приготовилась ловить чашку. Подсохшая губа с глубокой выемкой, излучающая множество мелких морщинок, растянулась в насмешливой улыбке:

— А стакан простой воды я могу получить в этом доме?

— Конечно, конечно, — заторопилась Анна Федоровна.

Утренний скандал, кажется, не состоялся. Или отложился.

«Стареет, бедняжка», — отметила про себя Анна Федоровна.

Была среда. Поликлинический прием с двенадцати. Кате сегодня можно дать выспаться. Внуки по средам на самообслуживании: семнадцатилетняя Леночка перед институтом отводит маленького Гришу в гимназию. Заберет его Катя, но вернуться домой надо не позже половины шестого: с шести Катя работает, преподает английский в вечерней школе. Обед есть. До ухода надо молока купить. Звон колокольчика.

«Раз, два, три, четыре... десять».

— Да, Мур.

Тонкая рука держит металлические очочки на весу изящно, как лорнетку:

— Я вспомнила, тут по телевизору, фирма Ореаль. Очень красивая девушка рекомендовала крем для сухой кожи. Ореаль. Кажется, это старая фирма. Да, да, Лилечка заказывала эти духи в Париже. Она хотела литровую бутыль, но ее бедный любовник прислал маленький флакончик, большой он не осилил. Но скандал был большой. А мне Маецкий привез литровую... Ах, что я говорю, то были Лориган Коти, а никакой не Ореаль...

Это было новое бедствие — Мур оказалась исключительно податлива на рекламу. Ей нужно было все: новый крем, новую зубную щетку или новую суперкастрюлю.

— Присядь, присядь, — благодушно указала Мур на круглый табурет от пианино.

Анна Федоровна присела. Она знала все круги, восьмерки и петли, наподобие тех, что в Гришиной железной дороге, по которым скользят паровозики старых мыслей, делая остановки и перекидки в заранее известных местах ее великой биографии. Теперь она

включалась на духах. Далее шла подружка и соперница Лилечка. Маецкий, которого она у Лилечки увела. Известный режиссер. Съемка в кино, которая ее прославила. Развод. Парашютный спорт — никто и вообразить не мог, что она на это способна. Далее авиатор, испытатель, красавец. Разбился через полгода, оставив лучшие воспоминания. Потом архитектор, очень знаменитый, ездили в Берлин, произвела фурор. Нет, ни в ЧК, ни в НКВД, глупости, нигде никогда не служила, спала — да. И с удовольствием! Там были, были мужчины. А вы с Катькой чулки меховые... жопы шершавые....

Сорок лет тому назад Анне Федоровне хотелось ее ударить стулом. Тридцать — вцепиться в волосы. А теперь она с душевной тошнотой и брезгливостью пропускала мимо ушей хвастливые монологи и с грустью думала о том, что утро, столь много обещавшее, у нее пропало.

Зазвонил телефон. Вероятно, из отделения. Что-то стряслось, иначе бы не позвонили так рано. Она поспешно сняла трубку:

— Да, да! Я! Не понимаю... Из Йоханнесбурга?

Как не узнала сразу этот голос, довольно высокий, но вовсе не бабий, со скользящим «р» и с длинными паузами между словами, как бывает у излечившихся заик. Подбирает слова. Тридцать лет...

Сначала все пахлынуло к голове, и стало жарко, а через секунду прошиб пот, и дикая слабость...

— Да, да, узнала.

Нелепый вопрос «как поживаешь?» через столько лет.

— Да, можно. Да, не возражаю. До свиданья.

Положила трубку. Даже от руки кровь отхлынула, ослабли и промялись подушечки пальцев, как после большой стирки.

— Кто звонил?

— Марек.

Надо было встать и уйти, но сил не было.

— Кто?

— Муж мой.

— Скажи пожалуйста, он еще жив! Сколько же ему лет?

— Он на пять лет меня моложе, — сухо ответила Анна Федоровна.

— Так что ему от нас надо?

— Ничего. Хочет повидать меня и Катю.

— Ничтожество, полное ничтожество. Не понимаю, как ты могла с ним...

— У него клиника в Йоханнесбурге, — попыталась перевести стрелку Анна Федоровна, и ей это удалось.

Мур оживилась:

— Хирург? Забавно! Хирургом был твой отец. Я попала в автомобильную катастрофу на Кавказе. Если бы не он, я бы потеряла ногу. Он сделал блестящую операцию. — Мур хихикнула: — Я его соблазнила, будучи в гипсе...

Самое удивительное, что подробности были неисчерпаемы, — про то, что Мур вышла замуж на пари и выиграла бриллиантовую брошь у знаменитой подруги, Анна Федоровна давно знала, про гипс услышала впервые и прониклась вдруг недобрым чувством к давно умершему отцу, которого в детстве горячо любила. Он был на двадцать лет старше матери, последний, если не считать самой Анны Федоровны, представитель медицинской немецкой семьи, преданный своей профессии до степени, не совместимой с жизнью. Но хранил его случай. Когда-то в молодости, будучи врачом в уездном городе, он сделал трепанацию

черепа молодому рабочему, погибавшему от гнойного воспаления среднего уха. При новой власти рабочий вознесся до самых неправдоподобных высот, но доктор Шторх, совершенно о нем забывший, не выветрился из памяти благодарного пациента, и тот дал ему своего рода охранную грамоту. Во всяком случае, служба его военным врачом в царской и впоследствии в Добровольческой армии не помешала ему умереть в своей постели честной и тяжелой смертью от рака.

— Скажи, пожалуйста, а этот Йоханнесбург в Германии?

Кому-то могло показаться, что мысли у старушки скачут, как голодные блохи, но Анна Федоровна знала об удивительной материнской особенности: она всегда думала о нескольких вещах одновременно, как будто плела пряжу из нескольких нитей.

— Нет. Это в Африке. Южно-Африканская Республика.

— Скажи пожалуйста, англо-бурская война, помню, помню... забавно. Так не забудь купить мне крем, — и провела слабыми пальцами по расплывающейся, как старый абрикос, коже.

В прежние времена Мур интересовалась событиями и людьми как декорацией собственной жизни и статистами ее пьесы, но с годами все второстепенное линяло и в центре пустой сцены оставалась она одна и ее разнообразные желания.

— А что на завтрак? — Левая бровь слегка поднялась.

Завтрак, обед и ужин не относились к второстепенному. Еду следовало подавать в строго определенном часу. Полный прибор с подставкой для ножа, салфетка в кольце. Но все чаще она брала в руки вилку и тут же роняла ее рядом с тарелкой.

— Не хочется, — с раздражением и обидой выговаривала она. — Может, тертое яблоко я съем или мороженое...

Всю жизнь ей нравилось хотеть и получать желаемое, истинная беда ее была в том, что хотение кончилось, и смерть только тем и была страшна, что она означала собой конец желаний.

Накануне приезда Марека Катя допоздна убирала квартиру. Квартира была обветшалой, ремонта не делали так давно, что уборка

мало что меняла: потолки с пожелтевшими углами и осыпавшейся лепниной, старинная мебель, требующая реставрации, пыльные книги в рассохшихся шкафах. Интеллигентская смесь роскоши и нищенства. Поздним вечером Катя и Анна Федоровна, обе в старых теплых халатах, похожие на поношенные плюшевые игрушки, сели на гобеленовый диванчик, такой же потертый, как и они сами.

Анна Федоровна привалилась к подлокотнику, Катя, поджав под себя тонкие ноги, забилась матери под руку, как цыпленок под крыло рыхлой курицы. В Кате, хоть ей было под сорок, действительно было что-то цыплячье: круглые глаза на белесой перистой головке, тонкая шея, длинный нос клювиком. Птичье очарование, птичья бестелесность. Мать и дочь любили друг друга безгранично, но сама любовь препятствовала их близости: более всего они боялись причинить друг другу огорчение. Но поскольку жизнь состояла главным образом из разного рода огорчений, то постоянное умолчание заменяло им и тихую жалобу, и сладкие взаимные утешения, и совместные вслух размышления, и потому чаще всего они говорили о Гришином насморке,

Леночкиных экзаменах или о сотворном для Мур. Когда же случалось в их жизни что-то значительное, они только прижимались теснее и еще дольше, чем обычно, молча сидели на кухне перед пустыми чашками.

— Перед отъездом он подарил мне микроскоп, маленький, медный, чудо какой хорошенький, — улыбнулась Катя, — а я его сразу же отнесла к Тане Завидоновой, помнишь, во втором классе со мной училась?

— Ты мне никогда про микроскоп не рассказывала, — Анна Федоровна, не поднимая глаз, поплотнее укуталась в халат.

— Мне казалось, ты расстроишься, если я его домой принесу... А Завидонова мне его так и не вернула. Может, ее отец пропил... Знаешь, я ведь его ужасно любила... А почему вы все-таки развелись?

Вопрос был трудный, и ответов на него было слишком много — как по ступеням в подпол спускаться: чем глубже, тем темней.

— Мы поженились и сняли комнату в Останкине, у просвирни. Плита у нее всегда была занята, но весь дом был в просфорах. Там ты и родилась. Твоя первая еда была эти просфоры. Мы прожили там четыре года. Мур с сест-

рами жила. Эва в городе, Беата на даче. Тетя Эва всю жизнь ее обслуживала, блузки крахмалила. Старая дева, тайная католичка, строга была необыкновенно, никому ничего не спускала, а Мур боготворила. Умерла внезапно, ей и шестидесяти не было. И мать меня сразу затребовала. Чужой прислуги не терпела.

— А почему ты ей не сказала «нет»? — резко вскинулась Катя.

— Да ей было под семьдесят, и диагноз этот поставили... Не могла же я бросить умирающего человека.

— Но ведь она же не умерла...

— Марек тогда сказал, что она бессмертна, как марксистско-ленинская теория.

Катя хмыкнула:

— Остроумно.

— О да. Но, как видишь, он ошибся. Мама, слава Богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась. Съела часть легкого и замерла. Я ухаживала за ней, тетя Беата за тобой. Она детей не выносила, тебя сразу в Пахру перевезли, только к школе забрали.

— А почему отец сюда с тобой не переехал?

— Об этом и речи не было. Она его ненавидела. Он так в Останкине и жил до самого отъезда.

— А разве тогда выпускали?

— Особый случай. Через Польшу. Мать его, коммунистка, бежала из Польши с ним и его старшим братом в Россию, отец остался в Польше и погиб. Семья была большая, многие спаслись, кто-то уехал в Голландию, кто-то в Америку. Я уже не помню, Марек рассказывал. У тебя целая куча родни по всему миру. Да и сам он, видишь, в ЮАР, — вздохнула Анна Федоровна.

— А что Мур? — продолжала запоздалое расследование Катя.

Анна Федоровна тихо засмеялась:

— Она вызвала на завтра маникюршу и велела погладить полосатую блузку.

— Да нет, я имею в виду тогда...

— Мур запретила мне переписываться. Однажды приехал какой-то израильтянин польского происхождения, привез мне несколько сот долларов и для тебя игрушки, одежки, она узнала и такой скандал мне закатила, что я не знала, куда деваться. Не знаю, чего я больше испугалась. В те време-

на за доллары просто-напросто сажали. Я этому поляку все вернула и просила Мареку передать, чтоб он нас поберег и ничего бы нам не слал.

— Какая все это глупость... — прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску.

— Да нет, это жизнь, — вздохнула Анна Федоровна.

Но осадок после разговора остался неприятный: Катя, кажется, дала ей понять, что она неправильно живет...

Прежде такого она не замечала.

* * *

После многодневных морозов немного отпустило — начался снегопад, и Замоскворечье на глазах заносило снегом. Из нечеловечески высокого подъезда сталинского дома на мрачном гранитном цоколе вышел пожилой человек в толстенной дубленке и в треухе из двух лисиц сразу. Навстречу ему по широкой лестнице поднимался какой-то сумасшедший в бежевом пиджаке, красном шарфе, перекинутом через плечо, без шапки, в седых заснеженных кудрях.

Дверь еще не захлопнулась, и седой ловко обогнул крепко укутанного человека и юркнул в подъезд.

Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как затопали чьи-то шаги прочь от двери, потом ясный женский голос закричал: «Гришка, отдай пластилин!» Затем он услышал легкий звон стекла, раздраженный возглас: «Да откройте же дверь!» — и наконец дверь открылась.

За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклевывалось знакомое зернышко. Возможно, зернышком этим была небольшая лиловатая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и легкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него с испугом.

В конце коридора, там, где он заворачивал к маленькой комнатке, стояла лужа, а в ней с тряпкой в руках — незнакомая девушка, приходящаяся вошедшему даже не дочкой, а внучкой. Была она очень высокой, нескладной, с узкими плечами и круглыми глазами. Из дальней комнаты снова раздался крик: «Гришка, отдай пластилин!»

Гость вкатил за собой чемоданчик на колесах и остановился. Анна Федоровна, отсасывая кровь из порезанного пальца, сказала ему будничпо:

— Здравствуй, Марек!

Он обхватил ее за плечи:

— Анеля, можно с ума сойти! Весь мир изменился, все другое, только этот дом все тот же.

Из дальней комнаты вышла Катя с упирающимся Гришей.

— Катушка! — ахнул вошедший.

Это было давно забытое детское имя Кати, данное ей в те далекие времена, когда она была толстеньким младенцем.

Катя, глядя в его моложавое загорелое лицо, гораздо более красивое, чем казалось ей по памяти, вспомнила, как сильно его любила, как стеснялась этой любви и скрывала ее от матери, боясь причинить ей боль. А теперь вдруг оказалось, что в глубине сердца эта любовь не забылась, и Катя смутилась и покраснела:

— Вот мои дети, Гриша и Леночка.

И тут он заметил, что у Кати немолодое морщинистое личико и ручки, сложенные ло-

дочкой под подбородком, тоже уже немолодые. И он не успел еще разглядеть своих новообретенных внуков, как медленно открылась дверь в глубине квартиры и в дверном проеме, тонко позвякивая металлическими планками ходунков, появилась Мур.

— Пиковая Дама, — прошептал гость в величайшем изумлении. — Можно сойти с ума!

Он почему-то весело засмеялся, кинулся целовать ей руку, а она, подав великосветским движением сушеную кисть, стояла перед ним, хрупкая и величественная, как будто именно к ней и приехал этот нарядный господин, заграничная штучка. Своей наманикюренной ручкой отвела великосветская старушка всеобщую неловкость, и всем членам семьи стало совершенно ясно, как надо себя вести в этой нештатной ситуации.

— Ты чудесно выглядишь, Марек, — любезно заметила она. — Годы идут тебе на пользу.

Марек, не выпуская ее спасительной ручки, застрекотал по-польски.

...Так случилось, что это был язык их детства, урожденной панны Чарнецкой, родившейся в одном из полуготических узких до-

мов Старого Мяста, и внука аптекаря с Крохмальной, всему миру известной по разным причинам еврейской улицы Варшавы.

Катя переглянулась с матерью: и здесь Мур завладела вниманием прежде дочери, прежде внуков.

— Ты можешь зайти ко мне в комнату, — милостиво пригласила она Марека, как будто забыв, как сильно он не нравился ей тридцать лет тому назад. Но тут произошло нечто неожиданное.

— Благодарю вас, мадам. У меня всего полтора часа времени сегодня, и я хочу провести его с детьми. Я зайду к вам завтра, а сейчас, разрешите, я провожу вас в вашу комнату.

Она не успела возразить, как он решительно и весело развернул ее карету вместе с ней и ввез в будуар.

— У вас по-прежнему элегантно. Разрешите посадить вас в кресло? — предложил он тоном, в котором не было и намека на какую-то иную возможность.

Анна Федоровна, Катя и Леночка стояли в дверях наподобие живой картины, ожидая визга, вопля, битых чашек. Но ничего этого

не последовало: Мур кротко опустилась в кресло. Он нагнулся, потрогал ее узкую стопу, всунутую в сухой туфелек из старой синей кожи, и сказал довольно строгим голосом:

— Ну нет, такую обувь вам совершенно нельзя носить. Я пришлю вам туфли, в которых вам будет отлично. Специальная фирма. Только пусть девочки снимут мерку.

Он оставил ее одну, прикрыл за собой дверь, и Анна Федоровна спросила его в совершеннейшем изумлении:

— Как ты можешь с ней так разговаривать?

Он небрежно махнул рукой:

— Опыт. У меня в клинике восемьдесят процентов пациентов старше восьмидесяти, все богатые и капризные. Пять лет учился с ними ладить. А матушка твоя — настоящая Пиковая Дама. Пушкин с нее писал. Ладно. Пойдем-ка, Гриша, посмотрим, что там в чемодане лежит.

И Гриша, немедленно забыв про пластилин, которым он только что так ловко залепил сток в раковине, потянул за собой ладный чемоданчик многообещающего вида.

Анна Федоровна стояла возле накрытого

стола. Все происходящее как будто не имело к ней никакого отношения. Даже верная Катя не сводила глаз с загорелого лица Марека, и улыбка Катина показалась Анне Федоровне расслабленной и глуповатой.

«Как хорошо, — думала она, — что не покрасила волосы из того темного флакончика, который купила позавчера, он бы вообразил, что я для него моложусь. Но все-таки нехорошо, что я так распустилась, вот он уедет, и я покрашу».

Он оглянулся в ее сторону, сделал знакомый жест кистью руки, как будто играл в пинг-понг, — и Анна Федоровна вспомнила, как он ловко играл в пинг-понг, входивший в моду во времена их женихования.

Легко и свободно он разговаривал с детьми. Катю он держал за плечо, не отпуская, и она млела под рукой, как корова.

«Именно как корова», — подумала Анна Федоровна.

Подарки были отличные — радиотелефон, фотоаппарат, какие-то технические штучки. Он вынул из внутреннего кармана своего ворсистого пиджака альбомчик с фотографиями, показал свой дом в Йоханнесбурге, клинику и

еще один красивый двухэтажный дом на берегу моря, который он называл дачей.

Потом он посмотрел на часы, потрепал Гришу по затылку и спросил, когда он может прийти завтра. Он провел у них в доме действительно всего полтора часа.

— Мне бы хотелось пораньше. Можно? — он обратился к Анне Федоровне, и ей показалось, что он немного ее боится.

— Ты без пальто? — восхитился Гриша.

— Вообще-то куртка у меня в гостинице есть, да зачем она? Меня машина внизу ждет.

Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна Федоровна немного расстроилась и тут же сама устыдилась: все, в конце концов, так понятно, он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и красивым... Но в душе у нее было от смутной горечи и недоумения.

* * *

Как это часто бывает, семейная традиция безотцовщины в каждом следующем поколении усиливалась. Собственно говоря, последним мужчиной — отцом в их семье — был старый Чарнецкий, потомок лютого польско-

го воеводы, нежнейший родитель трех красавиц: Марии, Эвелины и Беаты.

Сама Анна Федоровна осталась сначала без матери, когда Мур бросила доктора Шторха по мгновенному вдохновению, выйдя однажды из дому и как бы забыв вернуться. Через несколько дней она прислала за вещами первой необходимости, среди которых не значилась полуторагодовалая дочка. Новое замужество Мур было еще неокончательным, но уже в правильном направлении. Чутье подсказало ей, что время декадентских поэтов и неуправляемых героев закончилось. Первая проба Мур в области новой литературы была не самая удачная, зато последующие в конце концов увенчались успехом: образовался у нее настоящий советский классик, гений лицемерия в аскетической оболочке и с самыми нуворишскими страстями в душе. Показывая коллекцию фарфора, свежекупленного Борисова-Мусатова или эскиз Врубеля, он обаятельно разводил руками и говорил:

— Это все Муркины причуды. Взял бабуто из благородных, теперь отдуваться приходится...

Последний брак был отличный, и маленькая Анна пребывала с родным отцом — до поры до времени о ней не вспоминали. Мур снова вошла в большую литературу, у нее был роман с главным драматургом, с очень заметным режиссером и несколько легких связей на хорошо оборудованном для этого фоне первоклассных южных санаториев. Построился, наконец, солидный дом в Замоскворечье, где квартиры выдавали не из плебейского счета на метродуши, а в соответствии с истинным масштабом писательской души. Но и здесь были какие-то бюрократические ограничения, пришлось прописать к себе обеих сестер, и решено было забрать девочку. К тому же Мур обнаружила, что принадлежащий ей классик неплатоническим оком взирает на пышных подавальщиц и молоденьких горничных, и решила, что пришла пора укрепить семью, дав возможность классику проявить себя в качестве родителя уже подросшей девочки.

Мур забрала у престарелого хирурга семилетнюю дочку. Обожавшая отца девочка была перевезена из сладостно-ленивой Одессы в чопорную, только что полученную московскую квартиру и постепенно забывала отца,

общаться с которым ей было теперь запрещено. По настоянию Мур девочке поменяли птичью немецкую фамилию на всесоюзно известную, велели звать толстого лысака «папой» и оставили на попечении второй тетки, пребывающей круглогодично на писательской даче. Через несколько лет наступили военные времена, эвакуация в Куйбышев, от которого остался во всю жизнь незабытый ужас холода, возвращение в Москву в жарком правительственном вагоне и счастливая встреча с Москвой, именно в эти первые после возвращения месяцы ставшей для нее родным городом. Своего отца она так никогда больше и не видела и только смутно догадывалась о своем глубиннейшем с ним сходстве.

Дочь Анны Федоровны Катя сохранила о своем отце еще более смутные воспоминания. Это были обрывчатые, по крупным планом заснятые картинки: вот она, больная, с завязанными ушами, а отец приносит ей прямо в постель щенка... вот она стоит на крыльце и наблюдает, как он выуживает из колодца с помощью длинной палки с крюком на конце утопленное ведро... вот они выходят из деревянного домика с горько-дымным запахом,

идут по заснеженной дороге в огромный царский дворец, где большие окна от пола до потолка, изразцовые печи, картины на стенах и пахнет летом и лесом...

Приезды отца в Пахру, где Катя, как в свое время и ее мать, жила до школы, почему-то почти не запомнились. Сохранилось лишь одно яркое воспоминание: она, Катя, в пятнистой кошачьей шубе и меховой шапке идет по узкой тропинке к остановке автобуса, держась одной рукой за тетю Беату, другой — за отца. Автобус уже стоит на остановке, и она страшно боится, что он опоздает, не успеет в него влезть, и, вырвав свою руку, она кричит ему:

— Беги, беги скорей!

В том же году он и выполнил Катину рекомендацию.

Удивительно даже, на какую глубину была похоронена детская любовь: многие годы Катя совсем не вспоминала ни о нем, ни о честной немецкой вещице, пригодной для изучения клеток кожицы лука и лапок блохи...

Катина ранняя дочка Леночка и вовсе не помнила своего отца. Катя развелась с мужем через год после рождения Леночки. Алимен-

тов она никогда от него не получала и только слышала от общих знакомых, что он жив.

Семья, до рождения Гриши, состояла из четырех женщин, но полное отсутствие мужчин никого, кроме Мур, не беспокоило. Мур, привычно рассматривавшая свою дочь Анну как существо бесполое, бесцветное и годное только на торопливое ведение домашнего хозяйства, недоумевала, отчего ее внучка Катя так скучно живет. Удивительный для Мур факт: откуда дети берутся при такой полнейшей женской бездарности? Ну прямо как животные: е...ся исключительно для размножения...

Мур была относительно Кати глубоко неправа. У нее была на редкость удачная несчастная любовь, ради которой она и оставила своего первого невнятного мужа, и с предметом своей великой любви она изрядно мытарилась, родила от него Гришку и уже тринадцатый год бегала к своему совестливому любовнику на редкие свидания и откладывала с года на год момент настоящего, неодностороннего знакомства сына с тайным отцом. Семья — это святое, утверждал он, и Катя не могла с ним не соглашаться.

Безотцовщина, таким образом, стала в их семье явлением глубоко наследственным, в трех поколениях прочно утвердившимся. В голову ни Анне Федоровне, ни Кате, ни даже входящей в возраст Леночке не пришло бы в этот дом, целиком и полностью принадлежащий Мур, привести даже самого скромного, самого незначительного мужчину. Такого права Мур, полная великолепного пренебрежения к своим женским потомкам, за ними не оставляла. Анна Федоровна и Катя вполне смирились и с духом безотцовщины, и с женским одиночеством, а Леночка, девочка инфантильная как раз в той области, где с великой полнотой проявилась одаренность ее прабабушки, вообще об этом не задумывалась.

Тем острее почувствовала Анна Федоровна, как весь дом сошел с ума после первого же прихода Марека. Не только восьмилетний Гришка, но и дылда Леночка, в ту зиму почти уже дотянувшаяся до метра восьмидесяти, и сама Катя выбегали на звонок Марека с такой восторженной прытью, как будто за дверью стоял по меньшей мере Дед Мороз. Марек и держал эту безвкусную красно-белую ноту: над африканским загаром дымились

ярко-белые кудрявые волосы, а вместо пошлого красного халата с белым ватным воротником был закинут вокруг шеи шерстяной шарф глубокого кровяного цвета и того высочайшего качества, которое материальные ценности почти превращают в духовные. Как и полагалось Деду Морозу, он был весел, румян и невероятно щедр на всякие угощения и подарки, а еще больше на обещания. Даже Мур проявляла к нему неумеренный интерес.

Давно не испытанное чувство личного унижения мучило Анну Федоровну. Марек, три дня тому назад вообще не знавший о существовании Гриши и Леночки, сегодня играл в их жизни такую роль: Леночка только о том и говорит, куда ей выехать на учебу, в Англию или в Америку, а Гриша бредит каким-то греческим островом, где у Марека дача, — двухэтажная вилла, прислонившаяся спиной к розоватой скале и глядящая в маленькую бухту с белой яхтой, пришпиленной посредине залива, как костяная брошка на синем шелке... Гриша распотрошил альбомчик с Марековыми фотографиями, и цветные оттиски чужой нереальной жизни валялись по всей квартире, даже у Мур. Но, самое обид-

ное, Катя ходила с дураковатой улыбочкой и даже немного подмурлыкивала, в точности как ее бабушка... Ко всему прочему совестливая Анна Федоровна мучилась еще и тем, что носит в себе такие низменные чувства и не может с ними справиться.

На работе у Анны Федоровны тоже было неприятное происшествие. Один из самых тяжелых пациентов последнего времени, поступивший не планово, а по травме, молодой милиционер, был прооперирован на редкость удачно, и с определенностью можно было сказать, что по крайней мере один глаз спасен. И на днях он перетащил в холле телевизор из одного угла в другой, и вся ювелирная работа пошла насмарку, возникли новые разрывы на сетчатке, и теперь было совершенно неясно, сможет ли она снова спасти глаз этому дураку...

В Москву Марек приехал по делам. Все дело его сводилось к одной-единственной встрече с медицинскими чиновниками, и назначена она была именно на первый вечер его пребывания. Речь шла о каком-то специальном оборудовании для послеоперационного

ухода за больными, к производству которого он имел отношение. Как сам он сказал позднее, переговоры эти были для него предлогом, чтобы повидать дочь. Ту первую попытку наладить связь с бывшим семейством он не возобновлял все эти годы: он имел слишком большой опыт общения с советской властью и в ее русском, и в польском варианте.

От этой поездки он ожидал чего угодно, но никак не рассчитывал встретить таких простодушных и трогательных детей, собственно, его семью, которая прекрасно без него обходилась и знать про него ничего не знала.

Даже старая грымза вызвала в нем тень нежности и интереса. В этот день он провел с ней несколько часов: так случилось, что Гриша пошел скакать на очередную елку к однокласснику, а Леночка отправилась заваливать очередной зачет.

Марек, хитрая бестия, задал Мур очень удачный вопрос — о сталинской премии, некогда полученной классиком. И Мур пустилась в приятные воспоминания. Последний успех мужа совпал с новым взлетом Мур — целой обоймой ярких успехов на смежной ниве: бурный роман с тайным генералом, держа-

щим весь литературный процесс в своем волосатом кулаке, шашни с мужниным секретарем, с мужем любимой подруги, каким-то биологическим академиком, и еще, и еще, и свидетельницей всему — насупленная дочь Анна с пуританской тоской в душе и с глубоким отчаянием, испытываемым из-за невозможности любить и неспособности не любить эту тонкую, нечеловечески красивую, всегда театрально разодетую женщину, которая приходится родной матерью.

Рассказывала Мур разбросанно, избирательно, сыпала именами и деталями, но картина перед Мареком рисовалась с полной отчетливостью. К тому же многое он знал от Анны...

Пережив воспеваемого вождя совсем ненадолго, в очередной и последний раз продемонстрировав завистливым коллегам гениальную предусмотрительность, своевременно умер классик. Его положили под тяжелым серым камнем на Новодевичьем кладбище, и жизнь Мур на некоторое время поскучнела. Денег, впрочем, было немерено, и они все притекали рекой — авторские, постановочные, потиражные. Другая бы жила себе спокойно, но

Мур что-то заволновалась, романы наскучили, опресneли, желания потеряли прежнюю упругость, между пятьюдесятью и шестьюдесятью оказались скучные годы. Потом она объясняла это климаксом. Но климакс благополучно завершился. Мур сделала две небольшие, по тем временам редкостные операции, подруга Верочка, знаменитая киноартистка, дала своего доктора, — и пошло некоторое освежение. Разумеется, роман. Ослепительный, невиданный, с молодым актером. Сорок лет разницы. Все рекорды побиты, все простыни смяты, подруги в богадельнях и больницах, некоторые дотягивают последние годы ссылки, а она, живая, острогрудая, с маленькой попкой и отремонтированной шеей принимает красивого цыганистого мальчика, юная жена которого беснуется в парадном. Москва гудит, жизнь идет...

И здесь произошел сбой. Неправдоподобно быстро спился мальчик-актер, посыпались одна за другой подруги, дочь Анна ушла из дома, вышла замуж за тощенького студента, еврея, — как этого Мур с детства не любила. То есть пусть, конечно, живут, не в газовые же камеры, но ведь и не замуж...

«Интересно, очень интересно, за кого она меня принимает?» — думал Марек, но никаких вопросов не задавал. Внимательно слушал.

...Бывшие любовники все поумирали один за другим, и генералы, и штатские. И досаднее всего — сестра Эва, на десять лет моложе, верная, преданная... Пришлось Анну вернуть в дом, вскоре и Катю поселили. Не успела оглянуться, полон дом детей, ничтожная жизнь, без веселья, без интересов...

Зайдя в комнату к матери, чтобы убрать чайные чашки, Анна Федоровна отметила про себя, что у Мур такой же счастливый вид, что и у детей, и, сверх того, она находится в состоянии полной боевой готовности: голос на октаву ниже, чем обычно, мурлыкающий, глаза как будто на два размера шире, спина прямей, если это только возможно. Тигрица на охоте — так называла Анна Федоровна мать в такие минуты.

Марек же сидел с туманной улыбкой.

Шел последний вечер семейного экстаза, в котором Анна Федоровна старалась принимать наименьшее участие. Гриша висел на

Мареке и время от времени отлинял, но только для того, чтобы, разбежавшись, повыше на него вскочить и поплотнее к нему прижаться. Леночка полным ходом шла к провалу сессии, но занятия в эти решающие дни она забросила, тенью ходила за новеньким дедом. Поскольку заманчивая Англия отбила аппетит к отечественной науке, она не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу завтрашнего экзамена. На Катю Анна Федоровна старалась не смотреть: выражение лица было невыносимым.

В двенадцатом часу Марек, простившись со всеми, зашел к Мур. Придерживая ступнями теплую грелку, она смотрела телевизор и ела шоколад. Это был один из основополагающих принципов: одно удовольствие не должно мешать другому. Что же касается грелки, против которой последние тридцать лет возражала Анна Федоровна, Мур с юных лет привыкла укладываться в подогретую постель даже в тех случаях, когда теплый пузырь был не единственным ее ночным спутником.

Почтительно склонившемуся перед ней Мареку она снисходительно протянула узкий

листок, исписанный до половины шаткими буквами:

— Это тебе, дружочек. Там мне кое-что нужно.

Марек не глядя сунул листок в карман:

— С большим удовольствием...

Он знал, как обращаться со старухами. Он вышел, Анна Федоровна замешкалась, поправляя торчком стоявшие за спиной Мур подушки.

Мур, облизнув замазанный шоколадом палец, загадочно улыбнулась и спросила вызывающе:

— Ну, теперь ты видишь?

— Что? — удивилась Анна Федоровна. — Что я вижу?

— Как ко мне относятся мои любовники! — ухмыльнулась Мур.

«Первые признаки помрачения», — решила Анна Федоровна.

Дети хотели проводить его до гостиницы. Остановился он неподалеку, в бывшем «Балчуге», который преобразился за последние годы во что-то совершенно великолепное, вроде того хрустального моста, который перекидывает-

ся по волшебному слову за одну ночь с одного берега на другой.

— Нет, будем считать, что уже попрощались, — объявил он неожиданно твердо, и Гриша, привыкший канючить по любому поводу и откапочивать свое, сразу покорился.

Марек намотал на шею нестерпимо красный шарф и перецеловал в последний раз детей так естественно, как будто не пять дней тому назад с ними познакомился. Потом он снял с вешалки оплешивевшую на груди шубу Анны Федоровны и сказал своим безапелляционным тоном:

— Пройдемся напоследок.

Анна Федоровна почему-то покорилась, хотя за минуту до того и не думала выходить с ним на улицу. Слова не говоря, она вцепилась в шубу, накинула оренбургский дареный платок — брала она подарки, если ей их приносили: коробки конфет, книги, конверты с деньгами. Брала и сдержанно благодарила. Но цен за свои операции никогда не назначала, то есть вела она себя в этом отношении точно так, как ее покойный отец. О чем и не догадывалась.

На улице он взял ее под руку. Из Лаврушинского переулка они вышли на Ордынку. Было чисто, бело и безлюдно. Редкие прохожие оглядывались на сухощавого иностранца, в одном светлом пиджаке не спеша прогуливающего упакованную в толстую шубу немолодую гражданку, которая никем не могла ему приходиться: для домработницы слишком интеллигентна, для жены стара и дурно одета.

— Какой прекрасный город. Он почему-то остался у меня в памяти сумрачным и грязным...

— Он разный бывает, — вежливо отозвалась Анна Федоровна.

«Зачем ты приехал, — подумала она, — все переворошил, всех встревожил?» Но этого не сказала.

— Пойдем куда-нибудь посидим, — предложил он.

— Куда? Ночью? — удивилась она.

— Полно всяких ночных заведений. Здесь неподалеку чудесный ресторанчик есть, мы вчера с детьми там обедали...

— Тебе завтра вставать чуть свет, — уклонилась Анна Федоровна.

Марек улетал ранним рейсом, сама она

вставала в половине седьмого. Ссылка на завтрашний день успокоила ее. Он уедет, все войдет в колею, кончится это домашнее возбуждение.

— Я хочу пригласить детей на лето в Грецию. Ты не возражаешь?

— Не возражаю...

— Ты ангел, Анеля... И самая большая моя потеря...

Анна Федоровна промолчала. Зачем она только вышла с ним! Из многолетней привычки к домашнему подчинению... Надо было отказаться...

Он почувствовал ее внутреннее раздражение, схватился тонкой перчаткой за ее пухлые варежки:

— Анна, ты думаешь, я ничего не вижу и не понимаю? Опыт эмиграции очень тяжелый, очень. А у меня их было три. С польского на русский, с русского на иврит, последние пятнадцать лет английские... И каждый раз проживаешь все заново, от азбуки... Много всего было. И воевал, и голодал, даже и в тюрьме посидел...

Каким он был милым мальчиком, студентом-третьекурсником, нисколько не похожим

на крепких самцов, исполняющих бодрый обряд собачьей свадьбы возле ее матери. Она, по аспирантским обязанностям, вела тогда студенческий кружок, и роман их завязался между колбочками и палочками. Долго и тщательно она скрывала ото всех их отношения. Стыдно было, что он такой юный. Но именно его юность, отсутствие в нем агрессивного мяса бессознательным образом ее и привлекали. У него была белая безволосая грудь и слева, возле соска, располагалось созвездие родинок — ковшик Большой Медведицы. Он так и остался единственным мужчиной в ее жизни, но она никогда не пожалела ни о том, что был он единственным, ни о том, что именно он... Но всегда знала, что брак для нее случайность. Лет в шестнадцать она решила, что никогда не выйдет замуж: не было для нее ничего противнее, чем мурлыкающий голос, возбужденный смех и протяжные стоны из материнской спальни... вечный гон, течка, течка... На мгновенье она провалилась в сильнейшее детское ощущение несмываемой грязи секса, когда неловко было смотреть на любую супружескую пару, потому что тут же возникала картинка, как они, потея и стеная, занимаются

этой мерзостью... Как прекрасно быть монахиней, в белом, в чистом, без всего этого... Но какое счастье все-таки, что Катя есть...

Марек что-то говорил, говорил, но это пролетало мимо, как снег. Но вдруг она очнулась от его запинающихся слов:

— ...настоящее чудо, как проклятье, превращается в благословение. Это чудовище, гений эгоизма, Пиковая Дама, всех уничтожила, всех похоронила... И как ты это несешь? Ты просто святая...

— Я? Святая? — Анна Федоровна с ходу остановилась, как будто на столб наткнулась. — Я ее боюсь. И есть долг. И жалость...

Он приблизил к ней свое лицо, и видно стало, что он вовсе не так молод, что кожа у него старческая, в мелких острых морщинках и темных старческих веснушках под всесезонным загаром:

— Ну чем, чем я могу тебе помочь?

Она махнула серой варежкой:

— Домой проводи...

Звонил Марек из своего Йоханнесбурга так часто, как не звонили приятельницы из Свиблова. Гриша страстно ожидал его звонков,

коршуном кидался на телефонную трубку и кричал всем без разбору: «Марек! Это ты?» Леночка занималась только английским и примеривалась на отъезд. В ней вдруг проснулась прежде не свойственная ей деловитость, она толково и придирчиво выбирала себе место для будущей учебы. Даже Катя, всегда спокойная и немного сонная, ждала неопределенных перемен, так или иначе связанных с появлением отца, и, кажется, немного поохладела к своему тайному другу, который, напротив, начал вялые разговоры о возможном его уходе из семьи.

Марек с энтузиазмом принялся за выполнение своих рождественских обещаний. Первыми ласточками были совершенно ортопедического вида туфли для Мур. Они были исключительно уродливы и, вероятно, столь же исключительно удобны. Их принес прямо домой чуть ли не секретарь израильского посольства, старинный друг Марека. Мур их даже и не примеряла, только хмыкнула. Туфли были на школьном каблуке и на каких-то стариковских резиночках, а Мур последние семьдесят лет носила только открытые лодочки на изящных, по мере возможностей текущей моды, каблуках.

За парой туфель последовала пара маленьких компьютеров, причем размер их находился в обратной пропорции с ценой. Позаботился он также и о компьютерных играх для Гриши. Леночка еще не оправилась от той любительской кинокамеры, которую он оставил ей перед отъездом, еще не успела насладиться тем особым ракурсом мира, который открывается через видоискатель, а новый подарок уже подгонял ее, требовал скорее научиться всему тому, что с его волшебной помощью можно было делать.

Наконец, через шесть недель после отъезда Марека, пришло приглашение из Фессалоник, подписанное некоей Евангелией Даула, приходившейся близкой подругой Марековой жене, о которой только и было известно, что у нее есть подруга-гречанка, которая и пришлет приглашение...

Приглашение было составлено таким образом, что они могли ехать в любое время с июня по сентябрь.

Гриша, восхищенный до седьмого неба одним видом конверта с прямоугольным окошечком, носился с ним по квартире, пока не натолкнулся на Мур, направлявшуюся на кух-

но в своем металлическом снаряде. Он сунул ей в лицо конверт:

— Смотри, Мур, мы едем в Грецию, на остров Серифос! Нас Марек пригласил!

— Глупости какие! — фыркнула Мур, которая никогда никаких скидок на возраст не делала. — Никуда вы не поедете.

— А вот поедем, поедем! — подскакивая от возбуждения, кричал Гриша.

И тогда Мур оторвала руку от поручня своих ходунков и протянула восьмилетнему правнуку под нос великолепную фигу с сильно торчащим вперед ярко-красным ногтем большого пальца. Второй рукой она ловко выхватила приглашение из рук опешившего мальчишки, не ожидавшего такого дерзкого нападения. Опершись локтями о перильца, она скомкала конверт и бросила плотный, как хороший снежок, бумажный ком прямо к входной двери...

— Гадина! Гадина! — взвыл Гриша и кинулся к двери.

Катя выскочила из комнаты, схватила сына, не понимая, что произошло между сыном и бабушкой. Гриша расправлял какую-то бумажку и продолжал выкрикивать неожиданные слова:

— Гадина поганая! Сука гребаная!

Приспустив печальные веки, Мур с тихой укоризной обратилась к внучке:

— Забери своего выблядка, деточка. Деточка, детей надо воспитывать, — поскрипывая колесиками, поехала на кухню.

Катя, еще не догадываясь, что за комок бумаги теребит рыдающий Гриша, уволокла его в комнату, откуда еще долго раздавались всхлипы.

В тот день Анна Федоровна пришла с работы усталой более, чем обычно, — есть вещи, которые утомляют человека гораздо более, чем сама работа. Привезли очень тяжелую девочку. В детском отделении не было врача соответствующего профиля и квалификации. Девочка была Гришиного возраста, с осколочным ранением. Операция была очень тяжелая.

Складывая в футляр прибор для измерения кровяного давления, Анна Федоровна размышляла: откуда у Мур берется энергия? При таком давлении она должна была испытывать сонливость, слабость... А тут агрессивность, острота реакций. Вероятно, вступают какие-то иные механизмы. Да, геронтология...

— Да ты меня не слушаешь! О чем ты думаешь? Я против, ты слышишь меня? Я не была в Греции! Никуда они не поедут! — Мур теребила Анну Федоровну за рукав.

— Да, да, конечно. Конечно, мамочка.

— Что — конечно? Что ты мамкаешь? — взвизгнула Мур.

— Все будет, как ты захочешь, — успокаивающим тоном сказала Анна Федоровна.

«Нет, дорогая моя, на этот раз — нет», — твердо решила Анна Федоровна. В первый раз в жизни. Слово «нет» еще не было произнесено вслух, но оно уже существовало, уже проклюнулось как слабый росток. Она решила просто поставить мать перед фактом семейного неповиновения, никаких предварительных разговоров по этому поводу не вести. Можно было только догадываться, какую бурю поднимет это прозрачное насекомое, когда выяснится, что дети уехали.

К началу июня были готовы иностранные паспорта, получены визы. На двенадцатое июня были заказаны билеты до Афин. На этот же день, в соответствии с тонкой стратегией Анны Федоровны, был назначен переезд на

дачу. Продумано было все до мельчайших деталей: утром Катя с детьми уедет в Шереметьево, что не должно вызвать никаких подозрений, поскольку Катя всегда отправлялась на дачу заранее, чтобы подготовить дом к приезду Мур. На двенадцать была вызвана машина для перевозки на дачу Мур и Анны Федоровны. Суматохой переезда Анна Федоровна надеялась смягчить удар, тем более что и дачные сборы удачно маскировали преступный побег. Гриша и Лепочка были просто раздуты ожиданием, особенно Гриша. Полугреческий дедушка объявился очень кстати. Все Гришины одноклассники уже побывали за границей, он был чуть ли не единственным, кого не вывозили никуда дальше Красной Пахры. Да и сам дедушка, седой, кудрявый, стоящий на борту белой яхты, был предъявлен всему классу и удачно компенсировал отсутствующего отца.

В ночь накануне отъезда Анна Федоровна и Катя почти не спали. Под утро позвонил Марек, сказал, чтоб лишнего барахла не брали, в Греции, как известно, все есть, что он ждет не дождется и встретит в аэропорту.

В половине восьмого Мур потребовала кофе. Утренний кофе шел с молоком, а послеобеденный полагался черным. Анна Федоровна помогла Мур одеться и сварила кофе. После чего обнаружила, что молочный пакет в холодильнике пуст. Это была Леночкина безалаберность, она вечно засовывала в холодильник пустые пакеты. Время подходило к восьми. Такси в Шереметьево было заказано на половину девятого.

Анна Федоровна, в синем домашнем платье, в шлепанцах на босу ногу выскользнула из дому — побежала на Ордынку за молоком. Это занимало никак не больше десяти минут. Она припустила поначалу легкой рысью, но вдруг замедлилась — утро было необыкновенным: дымчатый, чуть голубоватый свет, небо переливчатое, как радужная оболочка огромного, самого синего глаза, и чистейшая зелень прибранного скверика возле уютной округлой церкви Всех Скорбящих, куда Анна Федоровна изредка захаживала. Она пошла медленно и вольно, как будто никуда не торопилась. Продавщица Галя, местная ордынская татарка, проработавшая всю жизнь в здешних магазинах, ласково поздоровалась.

Лет пятнадцать тому назад Анна Федоровна оперировала ее свекровь.

— Как Софья Ахметовна?

Удивительно, как при таком количестве золотых зубов улыбка получается робкой и детской...

— Оглохла совсем, ничего не слышит. А глаза видят!

Анна Федоровна взяла в руки прохладный пакет молока. Через пятнадцать минут уедут дети, а еще через два часа Мур узнает, что они уехали. Скорее всего, это будет уже в Пахре. Она представила себе побледневшие глаза Мур, тихий хрипловатый голос, повышающийся до звонкого стеклянного крика. Осколки разбитой посуды. Самый подлый, самый нестерпимый мат — женский... И увидела вдруг как уже совершённое: она, Анна, размахивается расслабленной рукой и наотмашь лепит по старой нарумяненной щеке сладкую пощечину... И совершенно все равно, что после этого будет...

Чувство чудесной свободы, победы и торжества стояло в воздухе, и свет был таким напряженно ярким, таким накаленно ярким. Но тут же и выключился. Осознать этого Анна

Федоровна не успела. Она упала вперед, не выпуская из рук прохладного пакета, и легкие шлепанцы соскользнули с ее сильных и по-немецки прочных ног.

Мур в это время уже бушевала:

— Дом полон бездельников! Неужели нельзя купить бутылку молока?

Голос ее был прозрачно-звонок от ярости.

Катя посмотрела на часы: до приезда такси оставалось пятнадцать минут. «Куда подевалась мать?» — недоумевала она. Но делать было нечего, и она побежала за молоком.

Знакомая продавщица Галя металась по тротуару. Реденькая толпа собралась перед входом в магазин. Там, на тротуаре, лежала женщина в синем звездчатом платье. «Скорая помощь» пришла минут через двадцать, но делать ей уже было нечего.

Катя, прижимая к груди все еще прохладный пакет молока, твердила про себя: молоко, молоко, молоко... до тех пор, покуда ее не послали за материнским паспортом. И, уже подходя к дому, повторяла: паспорт, паспорт, паспорт...

В доме Катя застала шумный скандал. Шофер такси, ожидавший их внизу, как было

уговорено, минут двадцать, поднялся в квартиру узнать, почему не спускаются те, кому надо ехать в Шереметьево.

Гриша, дрожащий от нетерпения, как щенок перед утренней прогулкой, завопил счастливым голосом:

— Ура! Мы едем в Шереметьево!

Мур, покачиваясь в своей металлической клеточке, вышла в прихожую и догадалась, что ее хотели обмануть. Она забыла и про кофе, и про молоко. В выражениях, которые даже шофер слышал не каждый день своей жизни, она объявила, что никто никуда не едет, что шофер может убираться по адресу, который привел шофера, молодого парня с дипломом театрального института, в чисто профессиональное возбуждение, и он прислонился к стене, наслаждаясь неожиданным театром.

— Где эта п...головая курица? Кого она хотела обмануть? — Она подняла вверх костлявую кисть, рукав ее старого драгоценного кимоно упал, и обнажилась сухая кость, которая, если верить Иезекиилю, должна была со временем одеться новой плотью.

Катя подошла к Мур и, размахнувшись расслабленной рукой, наотмашь влепила по

старой, еще не накрашенной щеке сладкую пощечину. Мур мотнулась в своей клеточке, потом замерла, вцепилась в поручни капитанского мостика, с которого она последние десять лет, после перелома шейки бедра, руководила всеобщей жизнью, и сказала внятно и тихо:

— Что? Что? Все равно будет так, как я хочу...

Катя прошла мимо нее, на кухне вспорола пакет и плеснула молоко в остывший кофе.

ГОЛУБЧИК

В те самые годы, когда Гумберт Гумберт томился по своей неполовозрелой возлюбленной и строил бесчеловечный план женитьбы на бедной Гейзихе, на другом конце света Николай Романович, одинокий профессор философии (или той науки, которая претендовала так называться), также пораженный любовным недугом, идущим вразрез с общепринятыми нормами, женился на даме, которая и в своем золотом сне не могла бы претендовать на такую блестящую партию. Собственно говоря, Антонина Ивановна нисколько не была дамой, и даже гражданкой могла считаться лишь с натяжкой. Она всепроцентно относилась к категории теток, работала в ту пору сестрой-хозяйкой, по-старому кастеляншей, в кардиологическом отделении, куда упомянутый профессор поступил как плановый

больной в соответствии со своей стенокардией.

Мягкая тетеха, даже не курица, а серенькая индюшка, расширяющаяся книзу от маленькой головки до толстенных ног, разводка, тайно выпивающая, жила Антонина Ивановна в девятиметровке с малолетним сыном. Зарплата была самая ничтожная, она легонько, по мере возможностей, подворовывала, сама себя стыдясь. Словом, порядочная была женщина. В начале января, по причине школьных каникул, она стала водить своего мальчонку с собой на работу, и бледноволосый отрок, сидевший в бельевой и выглядывавший из-за материнской спины белейшим лобиком со светлыми щеточками у основания бровей, сразил профессора в самое его больное и порочное сердце.

Возможный пассаж о связи этих двух явлений, болезни и греха, об их тонких взаимных касаниях и перетеканиях оставляем на рассмотрение психоаналитиков и святых отцов: и те и другие на этих опасных просторах вволю попаслись.

Николай Романович прогуливался часами по больничному коридору и заглядывал в при-

открытую дверь бельевой, ухватывая нацеленным взглядом то острый локоток в штопаном синем свитере, легко елозящий по столу (он что-то рисовал), то мелькающие штуки пожелтевшего от автоклавирования казенного белья. А то вдруг и предстанет в просвете двери во весь рост светлое изящное существо, настоящий гаремный мальчик, ну разве что чуть-чуть не дорос, еще два-три годика набрать. Двенадцать — сладчайший возраст...

Иногда мальчика кормили в столовой для ходячих больных, и он сидел за угловым столиком, где наспех ели врачи. Спинка прямая, серьезный, испуганный. Николай Романович хорошо разглядел его бледно-голубые глазки, немного косящие, когда он смотрел вправо, и белесые реснички, пушистые, как созревшее одуванное семя.

— Тоня! Тоня! — позвала кастеляншу старшая сестра, заглянув в столовую, и Антонина Ивановна отозвалась ласковым рыхлым голосом:

— Аюшки!

Вот как раз при звуке этого голоса Николая Романовича и прошило озарение: а не попробовать ли устроить свою жизнь иным спо-

собом?.. Конечно же она домашний человек, экономка, няня... На основании честного брачного договора: ты — мне, я — тебе.

Шел Николаю Романовичу пятьдесят пятый год, возраст почтенный. Так и запишем: никаких постельных радостей не ждать, не рассчитывать, однако отдельная комната, полное обеспечение, уважение, разумеется. С вашей стороны, дорогая Ксантиппа Ивановна, ведение домашнего хозяйства, хранение домашнего очага, то есть: стирка, готовка, уборка. Сыночка усыновлю, воспитаю наилучшим образом. Образование дам. О да, и музыка, и гимнастика... Ганимед легкобегущий, пахнущий оливковым маслом и молодым потом... Тише, тише, только не вспугнуть прекрасной мелодии. Постепенно, чудесным образом растет в доме нежный ребенок, превращается в отрока... дружок, ученик, возлюбленный... И в эти алкионовы дни он будет своим трудолюбивым клювом вить гнездо своего будущего счастья.

Антонина-кастелянша сначала растерялась: с чего бы это? Но счастье, как ветер, приходит и уходит, не отчитываясь. Ну, привалило: комната восемнадцать с половиной

метров, с балконом, этаж пятый, окна во двор, дом шикарный, на улице Горького, в нем и актеры, и генералы, и кто хочешь. Все богато и прочно. Сам нежадный: на питание выдает щедро, да питание-то какое — из кремлевского распределителя, не велел никому рассказывать. И сдачи никогда не спрашивает. Чистоплотный — белье меняет раз в три дня, а носки чуть не каждый день. В ванной полощется, как утка, а в бане по субботам все равно полдня проводит. Ходит чисто и ботинки сам трет, и брюки сам гладит. Вы, говорит, так не сможете. Подружкам, которые уж очень интересовались, со всей простотой отвечала: насчет того-этого, нет, не скажу. Да я живого-то... уж сколько лет не видала, и да ну его совсем, я уж и так привыкла. Прям даже не знаю, за что так повезло, со Славкой возится, как отец родной. Хотя, правду сказать, со мной-то он больше молчком молчит. Да и о чем ему со мной-то разговаривать, если подумать-то? А уж культурный, одно слово сказать, профессор...

В последнем, надо сказать, она не ошибалась: был и культурным, и профессором. Философы-античники, как и породистые собаки,

плохо приживались на скудном пайке социализма. Но как раз Николай Романович нашел для себя грядочку, копал, поливал и унавоживал на ней кустик марксистско-ленинской эстетики, поскольку еще в канун революции успел завершить свое образование и даже едва не защитил диссертацию по теме «Сущность платоновской диалектики в интерпретации Альбина и Анонима». Вот это самое волшебное словечко «диалектика» и открыло перед Николаем Романовичем царские врата в новую жизнь, то есть в Социалистическую Академию, на должность преподавателя античной философии. В Академии он был единственным сотрудником, владевшим древнегреческим и латынью, и его постоянно использовали как «цитатчика» высокопоставленные начальники, включая и самого Луначарского, так что он десятилетиями теребил то Платона с Аристотелем, то Канта с Гегелем, отыскивая верное научное решение эстетических задач, в которых все эти домарксовы ученые путались, как слепые кутята. Он так поднаторел в теории искусства и критериях художественности, что ни одно постановление ЦК ВКП (б) по части культуры и искусства без его участия не со-

ставлялось — хоть об опере Вано Мурадели «Великая дружба», хоть о «Катерине Измайловой» Шостаковича. Он нисколько не страдал от раздвоенности: гибкая диалектика, как опытный проводник в горах, извилисто проводила его по самым сомнительным местам.

Но все-таки служил Николай Романович — увы! — двум господам. Вторым его господином, властным и тайным, была его несчастная склонность к мужскому полу. С самых юных лет она давила ему на темечко, поднимала артериальное давление и вызывала тахикардию. Страшно нависала сто двадцать первая статья. Ни один враг народа, истинный или дутый, ни один оппортунист или оппозиционер не испытывал такого бездонного страха, как те, кто жил под угрозой этой с виду невзрачной статьи. Это было реальное, невыдуманное тайное общество мужчин, узнающих друг друга в толпе по тоске в глазах и настороженности в надбровьях, — вроде масонов с их тайными знаками и особыми рукопожатиями. Свинцовый век, пришедший на смену серебряному, разметал по свету утонченных юношей, порочных гимназистов и миловидных послушников, оставив для Николая

Романовича и ему подобных опасные связи с алчными и жестокими молодыми людьми, с которыми ухо востро, потому что предадут, разоблачат, оклевещут, посадят... Лишь однажды в зрелой жизни Николая Романовича у него возникли длительные и глубокие отношения с молодым историком, мальчиком из хорошей семьи, погибшим на фронте, но прежде гибели совершенно измучившим Николая Романовича психопатически издевательскими письмами, полными оскорбительных намеков.

Славочка открывал новую эру в жизни Николая Романовича. Заветная мечта профессора обещала исполниться: он вырастит себе возлюбленного, и любовь мудрого воспитателя принесет мальчику пользу — о да! — разумную пользу. Он вылепит из него свое подобие, вырастит нежно и целомудренно. Будет Николай Романович истинным педагогом, то есть рабом, не жалеющим своей жизни для охраны и воспитания возлюбленного.

«Клянусь собакой! — мысленно произносил Николай Романович, склоняясь над спящим мальчиком, проживавшим теперь в его квартире, правда, в материнской комнате, на обитой светло-оранжевым плюшем кушетке,

в зыбком свете головастого торшера. — Все так и будет...»

— Голубчик ты мой, — шептал Николай Романович, подтыкая с боков одеяло.

В эти вечерние часы разрешено было Антонине Ивановне приложиться к рюмочке для сна. Под присмотром Николая Романовича, умеренно. И в самом деле был он педагогом, ничего из виду не выпускал.

В первый же год их семейной жизни Николай Романович отдал мальчика в музыкальную школу, на духовое отделение. Флейтиста из него не получилось, но в музыку он вошел, как в дом родной, дарование его как раз в том и заключалось, что слышал он музыку, как бог. Так что даже и в этой утонченной области получил себе Николай Романович партнера: отчим с пасынком ходили теперь вдвоем в консерваторию, наслаждаясь искусством, наименее пригодным для анализа его с классовых позиций.

Консерваторским завсегдатаям тех лет примелькалась эта парочка — субтильный пожилой мужчина в крупных очках на мелочном личике и тоненький юноша с аккуратно постриженной светловолосой головой, в чер-

ном свитерке и выпущенным поверх круглого выреза воротом белой пионерской рубашки. Московские мелогомофилы — вот неразгаданная таинственная корреляция — корчились от зависти, когда Николай Романович покупал в буфете два лимонада и два пирожных. Но доносов на него не писали — слишком страшно жили.

Там, при консерватории, образовался в те годы некий круг посвященных, без обозначенных границ, но с узнаваемыми, заметными лицами. Кроме тайных единоверцев Николая Романовича и обыкновенных любителей к этому кружку примыкали, разумеется, и профессионалы. И некоторые Славочкины соученики по музыкальной школе. Например, девочка Женя, юная виолончелистка, приходила обыкновенно с папой или с мамой. Женя все шептала что-то Славе на ушко и тянула его за рукав в сторону, все в сторону...

— Милая девочка, — говорил Николай Романович своему питомцу, — но очень уж неудачной внешности...

Но это было не так. Внешность девочки была вполне приемлемая: темные глазки, кудряшки, бантик клетчатый. Просто сердце

Николая Романовича на мгновенье сжимала темная ревность. Ни к чему нам эти девочки. Впрочем, ему досталось все, о чем только мог мечтать Гумберт Гумберт: золотистое детство, обращающееся на глазах в юность, почтительная дружба ученика и полнейшая и доверчивая взаимность, заботливо выращенная гениальным, как оказалось, мастером нежных прикосновений, дуновений, скользящих движений.

На шестьдесят пятом году жизни в собственной постели во сне Николай Романович умер от закупорки сердечной аорты, как и упомянутый уже господин. Умер, насыщенный молодой любовью своего «голубчика», в полном согласии со своим «даймоном», так и не прочитав романа, наполненного высоковольтным током набоковского электричества, и не ощутив глубокого родства с его несчастным героем.

Осиротевший Славочка, к тому времени студент первого курса философского факультета МГУ, остался после смерти воспитателя в глубоком недоумении. Пока еще шли занятия, разбирали логику и пропедевтику диамата в старом здании философского факультета, что окнами выходил на анатомический те-

атр Первого медицинского, было еще ничего, но потом настало летнее каникулярное время, которое Слава привык проводить с отчимом в пансионате в Пярну, и тут он впал в депрессию — залег в кабинете отчима, слушая его любимые пластинки и с трудом поднимаясь, чтобы перевернуть на вторую сторону или поставить новую.

Старый эстетик сыграл недобрую роль: голубчик его теперь не знал, как жить дальше, — без водителя он не умел. Друзей не было. Тщательно сберегаемая тайна его отношений с отчимом ограждала его от остальных людей непроницаемой стеной. От матери он был далек. Он давно уже относился к ней точно, как Николай Романович: корректно и инструментально. Последние четыре года он вместе со своей оранжевой кушеткой пребывал в кабинете Николая Романовича, спасаясь от материнского храпа.

Наследство после отчима осталось по тем временам ошеломляюще огромное: стопочка сберегательных книжек, часть из которых была на предъявителя, часть именных, с завещанием на имя Славы. И одна, самая скромная серенькая книжечка на три тысячи руб-

лей, завещана была Антонине Ивановне. Ее Слава вручил матери, которая руками всплеснула от радости. Не ожидала такого богатства и слетела с катушек: вместо разрешенной Николаем Романовичем стограммовой стопочки брала теперь четвертинку, да и не только вечером. Часам к девяти Антонина Ивановна засыпала, как обыкновенно, нерушимым сном, а Слава выходил на улицу пройтись, подышать густым бензиновым воздухом, посидеть на пыльной лавочке Тверского бульвара, неподалеку от самодеятельного шахматного клуба, куда стекались на ночь глядя фанатики клетчатой доски — пенсионеры и несостоявшиеся шахматные гении. Туда же забрела в один из душных вечеров и музыкальная девочка Женя.

Женя происходила из хорошей, насквозь музыкальной семьи, несущей свою музыкальность, как иные семьи несут наследственный недуг — гипертонию или диабет. В предках числились итальянская оперная певица, чешский органист, немецкий капельмейстер. Но главным Бахом в семье был Женин дедушка. Имя его и по сей день значится на почетной

доске медалистов Московской консерватории, в компании Скрябина.

Композиторство дедушки не поднялось выше посредственного уровня, в духе времени и культуры тех лет. Модерн его зачаровал, но ни дерзости Дебюсси, ни оригинальности Мусоргского ему не было отпущено. Известен он был как исполнитель, виолончелист, как педагог и музыкальный деятель — председатель разнообразных музыкальных обществ и собраний, распределитель стипендий для бедных одаренных детей и вспомоществований для старых оркестрантов. Словом, он был настоящий русский интеллигент сборных кровей, без капли русской, между прочим. Семья была большая, все близко к музыке — старший брат его был скрипичный мастер, младший, неудачливый, — переписчиком нот.

Женя деда своего не знала: их разделяли три десятилетия, между которыми пролегли две мировые войны. Дед умер сорока двух лет, в один день с эрцгерцогом Фердинандом, то есть в начале Первой мировой войны, а она родилась в последний день Второй.

В качестве бунта или каприза в семье вдруг возникал какой-нибудь отступник дядя

Лева, перекинувшийся в бухгалтеры, или тетя Вера, изменившая музыке с сельскохозяйственной наукой. Отступником был и отец Жени, Рудольф Петрович, соблазнившийся в свое время военной карьерой. Из-под своей полковничьей папахи он всю жизнь тосковал по музыке, болел ею, но инструмента не касался. Зато дочь свою он решил непременно вернуть к семейной традиции и определил на виолончель. И дом их, полный фотографий всяких великих с автографами, пыльных нот и непогребенных клавиров опер, наполнился живыми звуками гамм и упражнений. Женечка обещала стать настоящим исполнителем, и сам Даниил Шафран ее отметил и покровительствовал ей. Известность ее деда в музыкальном мире прибавляла ей привлекательности, но к тому же она обладала своим собственным трудолюбием и усидчивостью и с отроческого возраста проводила по многу часов, растопырив ноги и заключив между разведенными коленями малютку виолончель, ученическую игрушку. Она росла, и вместе с ней росло чудо — инструмент оказывался скоропослушен: едва тронешь его смычком, как он отзывался такими глубокими бархатными зву-

ками, слаще которых не бывало. И разве можно было сравнить с широким и гибким голосом виолончели сухой и шероховатый голос скрипки, простоватость альта или однообразную меланхолию контрабаса...

В то лето она впервые осталась одна в городе, родители жили на даче, а она готовила свою первую концертную программу. Вечерами выходила на прогулку.

Встретившись случайно на лавочке Тверского бульвара, оба безмерно обрадовались. Каждый из них переживал период одиночества: Женя — временного, но очень острого, потому что первый раз в жизни осталась в доме одна, Слава, как ему казалось, окончательного и пожизненного. Но говорили они только о музыке. К тому же у них было и общее поле воспоминаний — музыкальная школа на Пушкинской площади, куда оба они так долго ходили и от которой теперь не осталось и следа. На ее месте высилось уродливое здание «Известий». Общие уроки сольфеджио, хоры, ученические концерты... Они проговорили до позднего вечера. Потом он проводил ее домой, на Спиридоновку, а дорогой, неожиданно для самого себя, сказал ей:

— А у меня отчим умер.

Эти слова он произнес вслух в первый раз и поразился тому, как они прозвучали. Как будто что-то изменилось в воздухе и именно от произнесения этих слов Николай Романович умер окончательно.

Женя, что-то почуявшая, встрепенулась:

— Ты очень любил его?

— Он был мне больше, чем отец...

Это прозвучало так скорбно и благородно, что Николай Романович мог бы порадоваться.

— Бедненький! Я бы с ума сошла, если бы с папой что-нибудь такое случилось. — Она была так далека от смерти в свои восемнадцать лет, что даже слово «умер» не умела произнести.

Она затрясла головой, отгоняя от себя смертную тень, и рот ее сморщился сочувствием, но сказала она детскую глупость:

— Давай мороженого съедим! Много-много...

— Да где же его в такое время взять? — улыбнулся Слава, тронутый столь полным сочувствием.

— У меня в холодильнике. Родители на даче, а я ничего другого не покупаю.

Мороженое было превосходным, с кусочками замороженной клубники или ледяными ягодками черной смородины, его приносила в кастрюльке с сухим льдом соседка снизу, работавшая в кафе «Север» официанткой. Воровали все, кому было чего украсть.

После мороженого Женя вынесла из отцовской комнаты торжественную пластинку в черно-белом конверте:

— Караян. Из Германии привезли. Ты такого Вагнера сроду не слышал.

Она благоговейно опустила на диск проигрывателя мерцающую пластинку. Оркестровая версия «Тристана и Изольды». Оркестр звучал так, как будто играли не люди, а демоны. Они прослушали ее два раза подряд, и под эту вздыбленную музыку, именно где-то в районе смерти Изольды, Женя влюбилась в Славу. Ни с кем, даже с отцом, не слушала она так хорошо, так совместно. И он всей душой к ней рванулся: такая милая, ласковая, глаза черные, умные, живые кудряшки трепещутся надо лбом...

— Какая мужская, крепкая музыка, — заметила Женя, когда Караян отгрохотал.

— О да, — согласился Слава, про себя удивляясь: как она может это понимать...

Во рту еще долго сохранялся вкус клубничного мороженого, зернышки ягод покалывали десну, и какой-то вкус остался и в душе от совместного переживания этой буйной густоокрашенной музыки.

Весь август он ходил к ней в гости. Поздними вечерами, когда спадала жара и на Тверском бульваре собирались ночные шахматисты, он возвращался домой в хорошем настроении — депрессия его проходила. Это сочетание ощущений ночного бульвара, Вагнера и тающего мороженого накрепко связалось с Женей.

Когда наступила осень и родители Жени вернулись в город, начались занятия и встречаться они стали реже, хотя каждый день подолгу разговаривали по телефону о концерте Рихтера, о чудном альбоме Сомова, который Слава купил в букинистическом на Арбате, следуя привычке покойного отчима прогуливаться с деньгами в кармане по антикварным и букинистическим. Николай Романович никогда не был настоящим коллекционером, но разбирался понемногу в изделиях матери-

ального мира — даром, что ли, был убежденным материалистом.

В конце лета Жене казалось, что у нее, наконец, начинается настоящий роман, но все почему-то застопорилось на хорошей дружеской ноте и никак не развивалось дальше, хотя Женя очень желала чего-то большего, чем маленькие кусочки мороженной клубники или ледяные ягодки черной смородины.

Слава чувствовал постоянное ожидание, исходящее от Жени, и слегка нервничал. Он очень дорожил их общением, благородным домом, куда он попал, да и самой Женей, чуткой и к литературе, и к музыке, и к нему, Славе. Влечения он к ней испытывал столько же, сколько к фонарному столбу. И с этим, кажется, ничего нельзя было поделать.

В свои девятнадцать лет он твердо знал, что относится к особой и редкой породе людей, обреченной таиться и прятаться, потому что мягонькие наросты, засунутые в тряпочные кульки, вызывают у него брезгливость и ассоциируются с большой белой свиньей, облепленной с нижней стороны сосущими поросятами, а само устройство женщин с этим волосяным гнездом и вертикальным разрезом в

таком неудачном месте представлялось ужасно неэстетичным. Сам ли он об этом догадался, или Николай Романович, эстетик, ему тонко внушил, не имело теперь значения. Женя ему очень нравилась, и от одиночества она его спасала, но физическая тоска его не уходила, а только нарастала.

Простившись с Женей, он садился обыкновенно на Тверском бульваре неподалеку от шахматистов на одну и ту же лавочку и разглядывал редких прохожих с робким мысленным вопросом: он? не он? Однажды рослый красивый блондин посмотрел на него внимательно, и он весь напрягся, потому что ему показалось, что взгляд этот был особо содержательным. Но тот прошел мимо, оставив Славу в сладком поту, с сердцебиением. Странно, но сердце его словно вторило тому, страдающему стенокардией.

«И в этом мы тоже похожи, — констатировал Слава. — Меломаны, сердечники, эстеты...»

Он заблуждался, истинная картина была значительно сложнее, но заблуждение такого рода вполне понятно: эпоха суперменов в кожаных одеждах и металлических цепочках,

гомосексуалистов с накачанными шарами мышц, высокомерно и презрительно взирающих на «натуралов», еще не наступила, ковбои же воспринимались как секс-символ, желанный для женской половины мира, дырчатых алчных созданий, а не как коровьи мальчики, пастухи с задницами, разбитыми грубыми седлами, предающиеся однополой любви за полным отсутствием баб в округе...

Слава весь принадлежал античности в том романтическом виде, какой она представлялась поверхностным ученым девятнадцатого века — ведь и сам Маркс что-то бормотал о «золотом детстве человечества».

Вероятно, с огромного расстояния в несколько тысяч лет картина исказилась, и самое кровавое и разнузданное язычество, с его ярким политеизмом, в котором все сущее обожествлялось, одухотворялось и пускалось во все тяжкие — нимфы, наяды, сатиры, самые мелочные боги луж и придорожных канав, а также лебеди, коровы, орлы, пастухи и пастушки устраивали беспрерывную оргию не ограниченного ни в чем совокупления — и все это содрогающееся язычество почему-то называлось античным материализмом. В этом

заблуждении и состояла вера Николая Романовича, он передал ее в полном объеме своему воспитаннику вместе со своим сугубо личным пристрастием, которое он прививал осторожно и терпеливо с помощью опытных пальцев, нежного, в проницательных вкусовых сосочках, языка и старенького увядшего копья.

У гениального учителя оказался гениальный ученик, и он теперь изнемогал всем своим сверхчувствительным телом от нерастворимого одиночества: тосковали светлые тугие волосы, тосковал рот, грудь и живот, бедра и ягодицы. И райский сад, и роза Содома, как говорил Николай Романович. Да, да... Форель разбивает лед...

В начале октября, в один из темных, но еще теплых вечеров затянувшегося бабьего лета Слава высидел себе на Тверском бульваре нового учителя. От группы темных фигур, сгрудившихся под фонарем, освещавшим шахматные доски, к нему подошел человек лет сорока в холщовой кепочке, с красивым лицом, которое могло быть еврейским, в клетчатой старомодной ковбойке. Сняв кепку с раздутого луковкой черепа, присел на край

развалистой скамьи. Он весь был как будто под давлением — глаза слегка вылезали из орбит, а щетина перла со страшной силой так густо, что только на носу оставалась незаросшая поляна. Николай Романович, напротив, всегда слегка промокался, как подспущенный баллон. Подошедший уперся волосатыми кулаками в край скамьи и обратился к Славе очень свободно:

— Ваше лицо мне знакомо. Вы, простите, в шахматы не играете?

Сердце заколотилось неровно, заплясало под дурную музыку: он?

— Играю немного.

Человек засмеялся:

— Немного даже моя бабушка играла... Так, по крайней мере, она думала. Сейчас мы это проверим.

Человек вынул из кармана маленький кожаный ящичек, раскрыл. Фигуры были расставлены — остренькие штыри крепились в прорезях кожаной доски.

— Ваш ход.

Руки у Славы тряслись так, что он еле-еле смог ухватить шахматную фигуру. Он сделал первый ход Е2 — Е4... И успокоился.

Сомнений не было: это был он. Шахматист выдернул легонько черную пешку на острой ножке, задержал ее между большим и средним пальцем, пробормотал:

— Так рано стало темнеть... — и вонзил пешечку в светлый квадратик.

В тот вечер шахматисту показалось, что глаза у Славы зеркально-черные, как вошедшие в моду солнечные очки, но это впечатление было ошибочным, просто зрачки были так расширены, что голубая радужная оболочка сплющилась по окружности глаза.

— Давайте-ка эту партию доиграем у меня дома... Уж больно темно.

Шахматист сложил шахматы, нахлобучил кепочку, и они пошли на троллейбус. Слава не спрашивал, далеко ли ехать. Его колотило от предчувствия, а шахматист время от времени клал ему руку то на плечо, то на колено. Доехали до Цветного бульвара, там вышли и завернули в какой-то глухой переулок. Зашли в запущенный подъезд трехэтажного дома, и, пока поднимались по лестнице, шахматист сказал, что живет с мамой, что мама была в молодости красавицей, актрисой, а теперь почти слепая и совершенно безумная.

Квартира оказалась маленькой и очень грязной. Время от времени мама подавала за стеной недовольный голос, а потом запела романс. Партию не доигрывали. Потому что была любовь. Сильная мужская любовь, о которой прежде Слава смутно догадывался. Пахло вазелином и кровью. Это было то самое, чего хотелось Славе и чего Николай Романович не мог ему дать. Брачная ночь, ночь посвящения и такого наслаждения, что никакой музыке и не снилось. У Славы началась новая жизнь...

Хоронили Валиту за казенный счет. С уверенностью никто не знает, хоронили ли вообще. Возможно, разъяли на органы, залили их формалином и отдали на растерзание тем студентам, которые окнами выходят на философов. Или другим. Но это маловероятно. Экспертиза установила, что тело пролежало дней пятнадцать — семнадцать, прежде чем было обнаружено в укромном уголке Измайловского парка гражданином спортивного вида, прогуливавшим фокстерьера.

Почему Евгения Рудольфовна подала в розыск, трудно объяснить. За сорок с лиш-

ним лет их знакомства он пропадал много раз, на разные сроки. Особенно длинным был первый. Сначала ему дали пять лет, а уж там еще добавляли, так что исчез он тогда почти на десять. Это было не по своей воле. Потом объявился, но уже не Славой, а Валитой. Такое образовалось у него прозвище. Он Евгении Рудольфовне кое-что рассказывал, но ничего такого, что могло бы ее напугать или смутить. Он ее в некотором смысле берег.

Она не то чтобы Славу любила, нет, конечно, но она любила воспоминания своей молодости и помнила, как была влюблена в светлого одухотворенного мальчика, как слушали они музыку и как страдал он от несовершенства тогдашней звукозаписи: у Караяна шесть пиано и восемь форте, а здесь все слипается... Жалко было этого бедолагу, изгоя, лишившегося всего, чего только можно было лишиться: имущества, зубов, светлых волос и московской прописки, которую он, впрочем, вырвал из зубов у жизни, женившись на какой-то пропадающей алкашке, и прописался к ней на улицу с ласковым названием Олений вал. Осталось у него от всех его богатств только редкое дарование слышать му-

зыку да барские руки с овальными ногтями.

Вот уже много лет, как приходил он к Евгении Рудольфовне в театр, в обширный ее кабинет с медной табличкой «Завмуз» на солидной двери. И сотрудники его знали, и гардеробщики пускали. Обычно она давала ему немного денег, варила кофе и доставала из дальнего уголка шкафа шоколадные конфеты. Он был сладкоежка. Иногда, когда было время, она ставила ему какую-нибудь музыку. Впрочем, он признался, что музыки давно уже не любит — любит только звуки. Она не совсем поняла, что он имеет в виду. В этой области он разбирался лучше, чем она, заведующая музыкальной частью известнейшего московского театра. Бесспорно. И она это отлично знала.

Сидел он в кабинете недолго, стеснялся сам себя, как стеснялась себя когда-то его покойная матушка Антонина Ивановна.

Месяца два он не заходил, и Евгения Рудольфовна его не вспоминала. Как-то в субботу вечером пошла в консерваторию. Играли 115-й опус Брамса, кларнетный квинтет, немыслимо трудный для исполнения. В последней части, когда уже почти душа вон, про-

сто в поднебесье улетаешь, вспомнила Славу. Как он со своей блокфлейтой в маленьком угловом классе занимался с преподавательницей Ксенией Феофановной, толстой дамой в шелковом балахоне, красолицей и грубой, а она, Женя, влетела почему-то в класс и остановилась в испуге от собственной наглости... Сорок лет назад, в музыкальной школе, от которой ни кирпичика... Брамс кончился, и с последними звуками она почувствовала, что Славы больше нет.

Сделала запрос через справочную. Славу не обнаружили ни на Оленьем валу, ни на какой другой улице, и она позвонила в милицию. С ней разговаривали грубо, но через день вызвали ее сами, на опознание. Опознавать там было нечего. Это было какое-то черное тряпье, почти земля, очень страшная земля. Только рука была человеческая, с овальными благородными ногтями.

Потом разговаривала со следователем. Следователь был немолодой, одутловатый и знал так много, что можно было бы и поменьше. Он не получил от Евгении Рудольфовны ничего для себя интересного. Преступление было из тех, которое раскрыть было несложно, но

гомосексуальными убийствами милиция не особенно интересовалась. Они копились, копились, а потом их вешали на какого-нибудь маньяка из числа пойманных. Да и кому, кроме маньяка, нужно было убивать Валиту, человека, у которого ничего не было, кроме безумной жажды быть любимым... быть любимым мужчиной... любимым мужчиной...

Дома Евгения Рудольфовна долго рылась в детских фотографиях и нашла ту, которую искала. На остальных была девочка Женя с виолончелью. А на этой снят зал во время школьного концерта. Рудольф Петрович снимал. Во втором ряду хорошо видны они оба — Николай Романович в сером костюме и в полосатом галстуке и двенадцатилетний Славочка в белой пионерской рубашке с расстегнутой верхней пуговкой. Такое милое лицо, светленький такой, голубчик... И как его Николай Романович любил. Как любил...

ЦЮ-ЮРИХЬ

Три полных рабочих дня просидела Лидия на лавочке с раскрытым учебником немецкого языка. Оказалось, что все она рассчитала правильно и свой отпуск потратила не зря. К концу третьего дня из выставочного павильона вышел загорелый полненький мужчина, окруженный тонким сиянием, и сел рядом с ней. Сиял он, однако, не сам по себе, а переливчатым серо-голубым пиджаком. Пахло от него бодрой сосной, туфли на нем были женского серого цвета в фасонистых дырочках. Всю эту картину, включая дырочки, Лидия ухватила первым же цепким взглядом, даже заметила рахитичный, выступающий немного вперед лоб и красную жилку в левом глазу. Она уткнулась в раскрытый учебник, придерживая его с поворотом, чтобы обложка была видна.

Мужчина, по-рыбьи раскрыв рот, немедленно сглотнул наживку:

— О, ди дойче шпрахе!

И заулыбался. Далее разговор потек ручейком тонким, но уверенным. Господин сообщил, что он швейцарец из Цюриха, представитель фирмы, производящей краски, имеет дом в пригороде и любит животных. Лидия, со своей стороны, рассказала о себе — этот рассказ она давно уже подготовила, выучила наизусть и отрепетировала: педагог, работает с детьми, занимается немецким языком на курсах, понедельник, среда, пятница, просто для удовольствия.

— В немецком языке мне очень нравится порядок, все на своих местах, особенно глаголы...

Швейцарец расплылся — о, он тоже изучал иностранные языки и тоже считает, что немецкий самый рациональный...

Сотрудники наружного наблюдения заняты были свыше всякой меры: выставка международная, со всего города съехалась фарца, грудастые ласточки, шпоперки международного бизнеса, привезли свой свежий товар в шелковых розовых трусиках на грубых резинках.

Лидия могла быть совершенно спокойна — никому бы в голову не пришло, что и она здесь на охоте.

Действительно, к налетевшим сюда девушкам она не имела никакого отношения. Возрасту ей было за тридцать, красоты за ней никакой не водилось, напротив даже, нижняя губа была вытянута вперед лопаточкой, нос несколько нависал, и, вращайся она в европейских монархических кругах, губа ее считалась бы габсбургской, но поскольку она была родом из деревни Салослово, то прозвище у нее с детства было Лидка-гусыня. Двумя заметными ее достоинствами, кроме немецкого языка, были густые, в светлый слоистый пучок уложенные волосы и тончайшая талия, еще и утянутая грубым лакированным ремнем до состояния полуперепиленности.

Разговор шел неторопливо и весь в нужном направлении, но в какой-то момент швейцарец взглянул на свои швейцарские часы, и Лидия испугалась, что он просто так встанет и уйдет, сказавши ей ауфвидерзеен. Но он видерзеена не сказал, а, напротив, предложил посмотреть на его стенд и выпить чашечку кофе.

Лидия скромно улыбнулась, сверкнув двумя золотыми зубами в глубине узкогубого рта, убрала учебник и на мгновение задумалась: в сумочке у нее лежали перчатки, белые, нейлоновые, с оборочкой, точь-в-точь как на блузке — надеть, что ли... Перчатки — это шикарно, но не слишком ли... Не решившись их натянуть, она все же вытащила их и сжала в горсти.

— Моя гостья, — кивнул швейцарец охраннику, и Лидия, поигрывая перчатками, прошла за ним следом.

Он ввел ее в закуток своего стенда. Сердце Лидии зашлось от восторга, так весело ей было смотреть на образцы малярных красок, которыми торговал полненький швейцарец.

— Как красиво! — воскликнула она, и в искренности ее нельзя было усомниться. Хотя среди многих ее достоинств, включающих даже и простодушие, искренности как раз и не было. Скорее, она была хитровата. Вот именно, простодушна и хитровата. Но если говорить о стратегии ее жизни, то именно в данном случае она собиралась хитрить, и охмурять, и даже обманывать. Ничего этого ей и не понадобилось — господин ей ужас как понравился.

— Не расслабляться, только не расслабляться, — скомандовала себе Лидия.

Он предложил ей сесть, сам присел, слегка сгорбившись, в роскошное кресло красной пластмассы и неопределенно улыбнулся. С чего это он пригласил в павильон эту незнакомую женщину, вроде не клиент, и собой не хороша...

— Вам нужен массаж. У вас остеохондроз! — воскликнула она решительно и, не давая опомниться, вцепилась ему в холку и забегала маленькими крепкими ручками по толстому загривку. Он от ужаса зашелся. Сидел, выпучив глаза и хватая воздух.

Лидии катастрофически не хватало немецких слов. Слова «расслабиться» она не знала, но понимала, что инициативу никак нельзя упускать и нельзя молчать, надо что-то говорить. И она говорила. Сначала она пересказала текст из учебника по истории Москвы, потом биографию Пушкина. Между делом она сняла с него переливчатый пиджак, похвалила материю. Он пытался протестовать, но под ее напором быстро увял и таки расслабился.

— Я имею диплом массажиста — массаж физкультурный, массаж лечебный, я даже

изучала китайский массаж, — заявила она. И, видимо, не соврала: движения ее были уверенными и энергичными.

Ему и в Швейцарии приходилось иногда принимать сеансы массажа, дело это было недешевое. И насчет остеохондроза она была совершенно права — был у него остеохондроз.

Минут пятнадцать она гуляла по нему своими пальчиками, и очень приятно, только дверь была приоткрыта и он немного беспокоился, не увидит ли кто из посторонних. Но никто не сунулся, и когда она закончила, приятно обхлопав его через рубашку, ему ничего не оставалось, как поблагодарить. Дама была в высшей степени странная — но милая, решил он.

Настало время кофе. Он покрутил разогревшейся шеей, решил, что кроме кофе угостит ее еще и шоколадом. Был у него запас и плиточного, и в конфетных изделиях — для угощения хороших клиентов.

«Главное — не терять инициативу», — сосредоточилась Лидия и, пока швейцарец готовил кофе, составляла в уме приглашение.

— Я буду рада пригласить вас ко мне на

обед. Я имею диплом повара, — объявила Лидия. — Кухня европейская, кухня народов СССР, диетическое питание. Я имею разрешение работать поваром в ресторане.

Это было очень хорошее попадание. Швейцарец давно уже мечтал завести собственный ресторанчик, но обстоятельства жизни препятствовали.

— Так вы массажист или повар? —вполне живо поинтересовался швейцарец.

— И то, и другое. Хотя в настоящее время я преподаю историю нашего города, — сказала она со скромной гордостью. — Я педагог.

Все в точности соответствовало действительности. Лидия второй год вела краеведческий кружок при районном Доме пионеров. Зарплата была никудышная, но зато оставалось много времени для многочисленных ее занятий, а деньги она зарабатывала то шитьем, то вязаньем, то продажей кое-чего. Да и что деньги, много ли в них проку. Лидия с детства жила за интерес. И главный в жизни интерес был у нее ученье.

— О, я с удовольствием приду к вам на обед, — засиял швейцарец и вынул не ту ко-

робочку с конфетами, которую сначала собирался поставить, а другую, побольше. Лидия показалась ему интересной.

Начала Лидия с занавесок. Как пришла, сразу сдернула все занавески — и в таз. Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаивающее, и, когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за постирушку. Но теперь как раз у нее настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом. И что-то подсказывало ей, что, как и все другие экзамены, — а сдала она их сотни, — и этот, пешуточный, она сдаст. Только бы швейцарец пришел...

Она сразу же, еще до дома не доехав, поняла, что дала промашку, неправильно с ним уговорилась: надо было бы так, чтоб за ним заехать. А то мало ли что, забудет или дела, Большой театр или ресторан «Националь»... Какие у них, у иностранцев, еще заботы в Москве. Ну, Третьяковская галерея...

Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо

позаимствовать кое-что для приема. На закуски не напирать, икру, конечно, купить, ну, граммчиков двести осетрины горячего копчения, а в основном — настоящий русский стол... уха, пирожки... может, курник... бефстроганов тоже неплохо... но и не перемудрить. В общем, задача... И что надеть? Тоже момент очень существенный — не упустить бы самого важного...

Два дня Лидия рук не покладала. Все успела: и в «Прагу», и на Центральный рынок, и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла: мол, зачем это, не понимаю, но отказать не отказала — вынула из горки два серебряных прибора, две лопаточки, две вилочки, вазу для фруктов в два этажа, с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать правильно: виноград наверх кладешь, одну кисточку, и свешиваешь немного занавесочкой такой... Вниз же два персика, грушу и слив штук пять. И никаких яблок. Другое дело, была бы зима, тогда яблоки антоновские, и не на вазе, а моченые, в капустке с клюковкой... И икорницу эмалевую попросила — вот глаза-то выпучит!

А откуда все это Лидия знала, все эти большие тонкости про сервировку стола, про стирку, подсинивание и подкрахмаливание и про то, как правильно мужскую сорочку сложить, и как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребенку раздавить, а потом на кисель, и многое другое, то это отчасти от Эмильки, которая всему ее сама обучила, отчасти из курсов, а остальное из воздуха, само собой, потому что красоты у Лидии не было, зато ума палата. Это она про себя давно знала. Из всех людей, с кем она была знакома, одна только Эмилька была ее умней, а про других, бывало, покажется, вот, умнейшая женщина, а потом все же оборачивалось, что не умней ее, Лидии. Хотя про себя Лидия знала: кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла — и с Колькой, и с Геннадием. Но давно. Теперь на нее нашло озарение, что она всю жизнь не в ту сторону смотрела, куда надо бы. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда.

Опаздывал Мартин уже на полчаса, и Лидия, в чистейшей своей квартире, в белейшей блузке, перед накрытым столом, все металась от двери к окну и себя ругала на чем

свет стоит: как это она глупо договорилась, знать бы заранее, что так будет, лучше было бы заехать за ним в Сокольники, на самую выставку, и сюда приволочь...

Но сколько Лидия ни нависала над окном, гостя своего она пропустила, потому что он не с той стороны зашел, с переулка. Сбился от метро Бауманского не на ту сторону, дурачок, и по жаре сорок минут топал туда-сюда, пока две школьницы его на нужное место не вывели.

Он позвонил в дверь и был с цветами, розами. Штук не три, пять, семь, а двенадцать, — не по-нашему. Стоит в дверях весь мокрый, со лба течет, и рот открыт, дышит сильно... «Сердце не очень-то», — сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметанный, и медицинские курсы она тоже проходила, тогда на массаж без медучилища не брали, а ей массаж позарез как хотелось...

— Ихь варте инен зо ланг... — вот что сказала Лидия, а он — извиняться. Но глазами так и ходит, так и ходит...

Разрешите, говорит, снять пиджак...

Пиджак опять серый, но другой, без сияния. Снимает. Лидия его на руки принима-

ет, а он гладкий, как шелк. Может, правда, шелк? Швейцария — самая богатая страна. Эмилия еще когда говорила, что там у них банков больше, чем у нас пивных... На голубой рубашке у Мартина — подмышки и спинка синие, вспотел, бедный. Вот, ванной-то нет. Дом пролетарский, спасибо, хоть уборная своя, отдельная.

И тут на Лидию как вдохновение нашло. Присаживайтесь сюда, минуточку... Он сел в кресло, куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину, рот опять слегка открыт, видно, привычка у него такая.

А Лидия — шасть на кухню, и в таз воды до половины, и вносит небольшой такой тазик на вытянутых, и ставит на пол, прямо перед ним. А потом присела аккуратненько, разрешите, извините... и снимает с него серые ботиночки и носочки, тоже серые...

Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает: вас? вас? А ни вас... У нас, говорит Лидия, так принято: в жар холодная ножная ванна исключительно полезна... И компресс прохладный на лоб... Я, говорит, как медработник это знаю... По-немецки, кой-как, по

он все понял, головой своей лысой кивнул: я-а, я-а...

А ножки, ножки какие, какие пальчики. Маникюр, что ли, на ногах делает? Как вспомнила Колькины копыты, прель на ногтях, ничем не выведешь, — от сапог, он все говорил. От сапог вся вонища-то, мой, не мой — без разницы. Хоть кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет...

Лидия, как пальчики его увидела, все сразу наперед поняла: сейчас жизнь решается.

Улыбается Лидия тонко. От улыбки нос совсем на губу налезает. Не красит. Да она умная и это знает — улыбается, головку опускает и чуть отворачивает. Мы, говорит, на Востоке живем, у нас в России так принято.

Он что-то в ответ, но сложновато говорит, вроде одобряет, а слова непонятны. Ничего, ничего, все слова выучу, подумаешь... Вон, словарь-то на полке, большое дело.

Ногу на полотенце, промокнула, посочек натянула, расправила, второй... Ботинок мягкий, гладкий, из чего они их делают, такую кожу да хоть на рожу... А лицо у него — нет

лица: одно изумление и непонимание. Вот и хорошо — удивила.

Салфетка — в кольце серебряном, на вилке — монограмма немецкая. О-о... Готический шрифт... Ка Эр...

Да. Кристина Рунге, моя бабушка из Риги... Кристина Рунге — бабушка Эмилии Карловны. Значения не имеет. Швейцарец бровь поднял: очень интересная женщина, однако.

Приятного аппетита. Закуски, пожалуйста, — на чистом немецком языке. Все эти маленькие застольные словечки Лидия наизусть знает с первого года, как пришла к Эмильке в прислуги. Эмилька тогда пятерых деток держала, вроде частный детский сад. Этих первых она отлично помнит, еврейские детишки все, как на подбор: две сестры— Маша и Аня, Шурик, Гриша и Милочка. Их утром приводили с судочками, всех к девяти, а Милочку к половине десятого, прадед, старый, как мох на пеньке. Эмилька их гулять вела на скверик, а к половине двенадцатого обратно, Лидия их раздевала, ручки мыла, в комнату вела. До обеда полчаса, пока Лидия судочки грела, в немецкое лото играли и только по-немецки говорили. Их хабе нуммер ай-

нундцванцциг... И обедали по-немецки. Гебен зи мир битте... Данке... энтшульдиген... дас ист гешмект...

Потом Лида посуду мыла, а у детей мертвый час: девочки на большую кровать, втроем, Шурика на кушетку, Гришу — на кресло-«дешез». Спят, не спят — значения не имеет. Главное — ни слова, мертвый час. Это дисциплина такая. Встали, умылись — чай. К чаю печенье, это Эмилька от себя давала. Лидия это печенье хоть с закрытыми глазами: два желтка стереть с полстакана сахара, сто грамм шоколадного масла добавить...

О, икра! Да, пожалуйста... Икра бывает астраханская и каспийская. Эта астраханская, я ее предпочитаю. Она не черная, а серая, и зерно помельче. Очень нежная. Пожалуйста, пожалуйста. Берите масло. Вологодское масло. Попробуйте — вкус ореха чувствуете? Самое лучшее масло в России. Я знаю, что швейцарские молочные продукты очень хорошие. Но это русское масло превосходное. Перфект. Зеер перфект. Калач — особый русский хлеб. Айн руссише бротхен. Маленькая рюмка водки. Маленькая. Будьте здоровы! Прозит!

Он берет всего помалу, на язык пробует, к десне прижимает, лицо осторожное — ну точно как Эмилька. Может, он тоже из латышей? Головой кивает, руку в сторону отвел.

Угорь. Первое слово в любом немецком словаре. Ааль. Обитает в Балтийском море. В Швейцарии ааль не водится, не правда ли?

Помидор, фаршированный овечьим сыром. Это болгарское блюдо. Я изучала на курсах кухни народов мира. Какое популярное швейцарское блюдо? Фондю? Лазанья?

Нет, это во французской Швейцарии. Мы живем в немецкой, в моем регионе любят картофельный пуддинг. Это я должна посмотреть в словаре...

Исключительная женщина. Какие красивые волосы. Если распустить, это целое богатство, наверное ниже пояса.

А как он ел! Медленно, аккуратно, салфеточка на колепях, ножом-вилкой не гремит. Как будто его сама Эмилька учила. Не для утоления голода, а просто для красоты, ну, как на пианино люди играют или танцуют. Наши так не едят, хоть убей их. Но Лидия как раз умеет, всему у Эмильки научилась.

Закусочные тарелки унесла на кухню. По дороге завернула к вешалке, понюхала его пиджак, вдохнула, — и аж низ загорелся.

Пока она на кухне уху из кастрюльки в супницу переливала, Мартин все решал задачу: ничего у него не сходилось — угощение невиданное, он икру и не пробовал никогда в жизни, и в голову не приходило, сервировка царская, музейная, можно сказать, а квартирка-то нищенская, убожество. Загадочная женщина... А ноги? Как она ему ноги помыла! От нее многого можно ожидать... Он восемь лет ходил к одной польке, пока на Элизе не женился, и двести франков ей давал, так она даже бутылки минеральной воды ни разу не купила, он все приносил сам — и воду, и кофе, и печенье... Не зря говорят: загадочная русская душа.

Он не такой молодой потом оказался, хотя свеженький, полненький, лет ему уже сорок восемь было. Но лицо очень гладкое, совершенно без морщин, загар ровный. Только темечко лысое. В остальном же очень, очень приятный мужчина. Там, в Швейцарии, как выяснилось впоследствии, все такие, приятные, чистенькие, порядочные, — это Лидия уже потом узнала.

В тот момент она только одно понимала: здесь таких не бывает, и хоть сто лет ищи, здесь ей такого не достанется. Может, у артисток или у певиц такие мужчины, но она лично здесь таких не наблюдала ни у Эмильки в доме, ни в поликлинике, ни в педучилище, ни в университете марксизма-ленинизма. Нигде.

Рыбный, рыбный стол. Разве швейцарца мясом удивишь? Уха стерляжья с расстегаем... Но и не слишком. Кабачок — легкое овощное блюдо. Соус бешамель.

Если иметь такого партнера, как эта Лидия, то ресторан можно открывать хоть завтра. Не в центре Цюриха, конечно, но в каком-нибудь приятном месте, вроде Цолликон или Кильхберг... Лидия — приятное имя... Изящное имя. И фигурка изящная. Талия... Все-таки есть прелесть в небольших женщинах. Элиза, с ее ростом, шириной, никогда не выглядит изящной. Он поморщился.

Лидия встрепенулась: вы не любите овощи? Очень люблю. Особенно картофель. Знаете, я рос в деревне, и была война. Не думайте, что, если Швейцария не воевала, мы жили очень хорошо. Мы плохо жили во время войны. Еда была картофель и молоко. Здоровая

еда. Но крестьянская, простая. И мало. Вы потрясающе готовите. Вы не работали в ресторане? Могли бы быть шефом.

Нет, я готовлю только для друзей. Я очень люблю угощать друзей. Вот, получай, немчура. В России люди ходят в гости очень часто, угощают друг друга, пекут пироги.

У вас много друзей? Не очень. Я люблю все самое лучшее, поэтому у меня не очень много друзей. О да, качество имеет большое значение. Это основа всего — качество. Фирма, которую я представляю, существует шестьдесят лет, потому что производит краски очень хорошего качества.

Фирма принадлежала Элизе, и здесь был корень всех зол. Если бы фирма была просто чужая, ничья, хозяйская... Или если бы фирма принадлежала ему, Мартину... Но он был в таких крепких объятиях своей лакокрасочной супруги, что иногда просыпался от ужасного сна, будто влип в краску и не может из нее вытащить ноги, старается, рвется, а потом замечает, что ноги-то не его, а мушиные...

Разрешите? Она прикоснулась прохладной рукой к его предплечью, когда забирала тарелку. Кофе? Чай?

У него была такая мысль еще перед отъездом, что в Москве он непременно возьмет русскую проститутку. Но, оказалось, что таких учреждений, как, скажем, в Амстердаме, где однажды он взял себе очень интересную китаянку, здесь совсем нет, а с улицы женщину брать было страшно. Хотя они во множестве ходили по выставке, да и возле гостиницы «Москва», где он остановился, их тоже было немало. Но все они были как-то слишком молоды и вызывали подозрение, что с ними можно вляпаться в какую-нибудь скандальную историю. А об этом его еще в Цюрихе предупреждали. Лидия же была явно порядочная женщина, с икрой и со столовым серебром. Но все-таки, когда она прикоснулась голой рукой к его голому предплечью, он догадался, что может быть... И от одной этой мысли он сразу же завелся. Спросил, где туалет. Лидия его проводила. Все очень чистенько, но ужасное убожество... Зато икра... Ему пришлось немного подождать, прежде чем он смог помочиться. В общем, женщина эта его заинтересовала. Несомненно.

Раковина была на кухне. Он вошел туда. Лидия стояла к нему спиной, склонилась длин-

ной шеей над плитой, где у нее варился кофе. Два маленьких колечка волос завивались на шее. А ноги у нее были просто прелесть какие, с тонкой щиколоткой, с балетным подъемом. Каблучок высокий... Он подождал, пока она выключит газ и снимет кофе, и положил ей левую руку на талию, а правой приблизил к себе. Она опустила лицо ему на плечо, и он понял, что сейчас все получится, и даже отлично получится, потому что с Элизой у него тоже все получалось, но кое-как, а тут было такое вдохновение...

Он трудился над Лидией до позднего вечера, он выполнил свою месячную норму. Он никогда не ощущал себя гигантом, но в этот день в нем что-то открылось гигантское из-за этой женщины с тонкой талией, необыкновенной женщины, загадочной, с черной икрой и без ванной, даже без душа, с серебряными приборами и небритыми подмышками, и такой при этом образованной: по всем стенам висели дипломы в рамочках, по меньшей мере восемь, и с бабушкой Ка Эр, да еще готическим шрифтом... А телефона обыкновенного нет...

Да, да, швейцарские женщины, конечно, просто коровы... польки алчные... китаянки — продажные... а эта русская Лидия — настоящее чудо, просто загадочная русская душа... Откуда он это взял, кто это говорил: может, их великий писатель Лео Толстой или школьный учитель из Нидердорфа...

А потом, поздней ночью, они опять ели черную икру с маслом и калачом и пили шампанское — вполне приличное шампанское... Если она учительница, откуда у нее шампанское?.. И завтра, уже сегодня уезжать, а он даже не может сделать ей хороший подарок... Она, судя по всему, из очень порядочной семьи, может быть, из аристократов. Такая интересная внешность, и во всем виден человек со вкусом. И как при этом готовит! В России было много аристократов, это не Швейцария, у них и графы, и князья, и бароны... А может, наоборот, она секретный сотрудник из КГБ? Выслеживает его по заданию? Даже в яйцах от такой мысли похолодело. Нет, не может быть...

Лидия бесстрашно поехала провожать его в Шереметьево. Там было торжественно и сильно пахло заграницей. Они, конечно, об-

менялись адресами, но это был дым, дым мечты, и не имело значения. А значение имело только то, что Лидия побыла счастлива, как никогда в жизни, но уже понимала, что последние секундочки ее счастья отшлепывают, и потом никогда в жизни не встретит она этого Мартина, такого необыкновенного, таких вообще мужчин нет, у него даже пот не пахнет, просто как у ангела...

В самолете Мартин мгновенно заснул и проспал до самого Цюриха. А Лидия как села в автобус до аэровокзала, так и проплакала до самого дома, и в метро, и пока по переулкам до подъезда шла.

Дома Лидия умылась, вообще-то она была не плаксивая, доела икру — немного еще оставалось, все помыла, почистила, собрала посуду Эмилькину и серебро, завернула каждое в отдельную газетку, переложила жгутами бумажными, чтобы не переколотилось. Приготовила сумку — завтра перед занятиями Эмильке завезти...

Как Мартин уехал, сразу навалилось много работы: два массажа прибавилось, директорша Дома пионеров заказала платье из мо-

хера связать, то она все лето сидела в кабинете по внешкольному воспитанию да зевала, а теперь ребятишки стали к концу каникул собираться, каждый день заглядывали. Но главное дело был теперь немецкий язык и открытки. Лидия так решила: на новые курсы — раз и открытки с русской картиной-репродукцией или с видом природы — два.

Посылала еженедельно: открытку в конверт, красивую марку налепит, а на открытке несколько предложений, типа «Здесь представлен один из самых красивых видов нашей северной природы. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия» или «Картина знаменитого русского художника Сурикова «Утро стрелецкой казни». Посвящено историческому событию, когда молодой царь Петр Первый разгромил заговор сестры Софьи. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия». С одной стороны, культурно, с другой — ненавязчиво. Но о себе напоминает.

Открытки шли не на домашний адрес, а на какой-то бокс. И, по странной прихоти почтовых служб, Лидины открытки доходили адресату через две недели, а она получила от

него первое письмо почти через два месяца. Вроде и уверена была, что получит, но и за чудо считала. То есть так: уверена была, что произойдет чудо и получит она письмо от Мартика. Так она его с первого дня про себя называла.

Лидия запомнила в подробностях весь тот день, то утро, когда достала из ящика этот белый, как обморок, конверт, с гористой местностью на марке, и черным тонким почерком написанным адресом, ну совершенно как в кино. Она сняла с руки кожаную перчатку, и голой рукой взяла конверт, и, хотя времени было только, чтоб не опоздать на работу, поднялась домой, сняла пальто, ботики и села за стол — читать письмо. Но первое, что из конверта вынулось, была фотография: Мартин в белых трусах до колен и в белой майке стоит возле загородочки, а в руках у него теннисная ракетка. Ну просто сердце останавливается...

А какое там было письмо! Какое письмо! Обращение ровно в середине «Meine liebe Lidia!», поля — как будто невидимой полоской отчерчены. И каждое предложение с новой строки. И, что странно, хотя написано

все очень четко, ни одного слова не разобрать. Все буквы как-то не так у него прописаны.

В общем, она письмо завернула, в большой пакет положила и побежала на работу, потому что в тот день с утра была краеведческая экскурсия на фабрику «Красный Октябрь» с шестиклассниками.

Вечером Эмилия Карловна сначала долго письмо крутила, изучала со всех сторон и посмотрела на Лидию с новым интересом: девчонку она, можно сказать, своими руками сделала. Снимала дачу в Подмосковье, году в пятьдесят восьмом, — Иван Савельич еще жив был, точно, в пятьдесят восьмом, — и племянница хозяйки, сирота Лидка откуда-то из Белоруссии, прислуживала там по хозяйству. Девчонка тихая, забитая, совершенно без всяких способностей — сначала так показалось Эмилии Карловне. А в последний день, перед отъездом, все-таки решила взять ее с собой. Предложила хозяйке, как звали... не помню, нет... Настя ее звали, та с охотой девочку отпустила. Ей шестнадцати еще не было. Паспорт она уже в Москве получала, Иван Савельич, отставной полковник, сделал через свой

отдел кадров. Прописал же он ее вроде как на заводское общежитие. Но жила она у них, при кухне.

Теперь Эмилия уважительно держала это письмо и смотрела на Лидию как бы новыми глазами: молодец, молодец, девочка! Из никудышных обстоятельств, совсем из ничего, построила ведь очень неплохо: образование, своя квартира, даже внешность свою невыгодную облагородила, имеет стиль, в конце концов. Если откровенно говорить, родная дочь Лора не достигла такого положения, в относительном исчислении... Эмилии Карловне хотелось рассказать Лидии, что она бывала в Цюрихе до войны, с бабушкой, и в Женеву ее возили, и в Париж, но привычка никогда никому ничего о себе не рассказывать была слишком сильна. С сорок пятого года, как повстречала Ивана Савельича, так и поняла, что главное в теперешней жизни — молчать. Очень, очень присох к ней Иван, но ведь и ему, капитану НКВД, не рассказала Эмилия о себе ничегошеньки. Так, девочка из бедной латышской семьи, папа — квалифицированный рабочий был. О, у нас в Латвии всегда ценили профессионалов. Он был слесарь-инструменталь-

щик, первый класс! Иван, сам из рабочих, это уважал... А что папу убили партизаны, когда он служил у немцев начальником латвийской зондеркоманды, осуществлял программу «юденфрай» с большим вдохновением, так этого ему не говорила...

И Лидка — тоже молчунья. Знала, да не говорила. Тоже свой секрет содержала в молчании. Отец ее был арестован после освобождения Белоруссии Красной Армией и расстрелян в сорок четвертом за какие-то грехи против советской власти. Лидия не то забыла, не то ничего и не знала. Одиннадцать детей после него осталось да выгоревшая изба. Из одиннадцати трое выжили. И видеть друг друга не хотели, разъехались, развеялись. Говорили, старший брат военным стал, а сестра где-то не то в Нальчике, не то в Пятигорске жила. Все — забыто навсегда. И у Эмилии, и у Лидии.

Но Эмилия — почти красавица была, рост, грудь за пазухой пузырем, надо лбом — валик из крашеных волос, и зад как груша... как две груши. Иван Савельич на квартире у нее стоял, пока ему государственную не предоставили. А на государственную он уже с

Эмилией переехал. И Лору, Эмилькину дочь, принял, а потом и фамилию дал.

Все старое, бумажное: фотографии, справочки всякие, дипломы, письма — сгорело ясным пламенем в больших и малых пожарах, случайных и умышленных, только серебро и посуда хорошая остались от старых времен — против них Иван Савельич не возражал. Быстро пообвык, от алюминиевой миски к серебряной переход легок, обратно потрудней получается. Но ему не пришлось. Его до самой смерти Эмилька ублажала, не потому что сильно любила, а потому что была порядочная. И Лидию приучила. А вот с Лорой не совсем получилось...

Письмо было явно от порядочного человека, это несомненно. Он благодарил Лидию за исключительный прием, признавался, что никогда еще не общался с такой культурной женщиной, намекал также на ее несравненные дамские достоинства, а потом сообщал, что не смог ей сразу открыть глаза на свое женатое состояние, потому что поначалу ему это казалось совершенно несущественным, а потом уж он не посмел ее огорчить. Он и предположить не мог, что после возвращения в Швейцарию

он постоянно о ней будет думать, и она настолько занимает его мысли, что отношения его с женой совсем разладились. И теперь он думает о своем будущем, потому что надо принимать новые решения, и это очень трудно, так что голова его кругом идет...

После прочтения письма Эмилией Лидия тоже смогла разобрать написанное. Он и «р», и «н», и «к» писал странно, «и» походило на «т», но с привычки можно было и разобрать. После всего Лидия ударила козырем — показала фотографию. Эмилия долго ее разглядывала, а потом поставила диагноз:

— Лидия, имей в виду, это очень серьезно. Надо работать, но без большой надежды на успех. Оч-чень непростое дело...

«А Лора моя дура, дура, — раздраженно подумала Эмилия Карловна, — при всех ее данных этот жалкий еврей Женя...» И сказала: ответ напиши по-русски, я тебе переведу, чтоб прилично выглядело.

Лидия писала трое суток. Письмо поразило Эмилию: оно было мало сказать приличное, оно было изящно!

Но еще более письмо поразило жену Мартина, которая нашла в ящике мужнего стола,

где искала копию затерявшейся квитанции, стопку из двенадцати художественных открыток и это самое изящное письмо, из которого следовало, что Мартин завел себе в России женщину, о чем Элиза по некоторым признакам и сама догадывалась. И тогда разразился семейный скандал — по факту происшедшего. Мартин, который, может, и перетерпел бы свое любовное приключение, и оно само собой обратилось бы в один из эпизодов его, в общем-то, скромной сексуальной биографии, и улеглась бы Лидия в ряд, где прежде была полька, потом разовая китаянка, а потом она, разовая русская, но Элиза разожгла семейный скандал и нехорошо упрекнула Мартина в его мужской и всяческой никчемности, в то время как он теперь твердо знал, что способен на большие подвиги, если к нему дама относится с восхищением и в тазик с прохладной водой окунает натруженные ноги... И, замирая от неведомого, словно напрокат взятого мужества, он сказал Элизе с тихим достоинством, что, да, он полюбил русскую женщину и готов был подавить в себе это чувство, но ежели она, Элиза, желает теперь развода, то он, Мартин, тоже не возражает.

Высовывая из отвратительной крокодиловой сумочки край стопки открыток с разоблачительными русскими видами и конвертик с изящным Лидиным письмом, Элиза многозначительно подняла бровь и сказала что-то неопределенное про адвоката. Да Мартин и без адвоката прекрасно знал, что двенадцать лет работы на лакокрасочное дело будут у него просто украдены, а что он поднял дело, расплатился с долгами, которые висели над фирмой после раздела Элизы с братом, — не зачтется ни в копейку, все труды его прахом пойдут. Может, только часть суммы за дом ему достанется, да и то неизвестно, как Элиза письмом распорядится... В тот же вечер Мартин написал Лидии внеплановое письмо, в котором сообщил, что приедет в Россию на Рождество, и второе письмо — адвокату, где просил назначить ему время встречи.

Бракоразводный процесс, совместно с имущественным разделом, занял больше года, но закончился непредвиденно выгодным для Мартина образом. Он не был совладельцем, но и жалования ему Элиза не положила, и теперь ее обязали выплатить Мартину компенсацию,

и притом весьма значительную, за двенадцатилетние его труды.

За два с половиной года, предшествующие заключению нового брака, Мартин видел Лидию ровно шесть дней, в два приема. Убедился, что Лидия живой клад: массаж, забота, питание, секс — качество первый класс.

Они с Лидией совместно решили ограничить встречи во имя исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги: после развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарплату. Компенсация, да к этому еще прибавить столько же, — и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан...

Лидия, со своей стороны, целеустремленно готовилась к новой жизни: загадочно улыбаясь, подала заявление об уходе и круто поменяла культурную сферу на общепит — нанялась в ресторан при гостинице «Центральная» помощником повара. Там была русская кухня. Но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая... Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка — без

больших премудростей. А может, и не надо премудростей? Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через три она совершенно убедилась в том, что больше ей в «Центральной» делать нечего, все, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовалась новая задача: заработать денег побольше и купить себе приданое, чтобы приехать в город Цюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой.

Шубу надо было купить каракулевую, как у Эмильки, серую, кольцо с диамантом и серьги. Еще для будущего ресторана хотела Лидия закупить хохломской посуды, в золотых и красных цветах — поди плохо? Вопрос только, как вывозить... Видов северной природы она Мартину больше не посылала, отправила набор открыток с хохломскими утицами и ложками — он ее вкус одобрил.

Но сказка сказывается скоро, и настал день, когда Лидия собрала два чемодана со всем хорошим, чего в Швейцарии носить будет не стыдно (ошиблась — только то и пригодилось, что Мартин ей привозил, а свое все на тряпки, на тряпки потом пошло...), и ку-

пила билет на поезд. Из экономии. И отбыла Лидия с Белорусского вокзала в город с журливым и шелестящим именем «Цю-юрихь», где полны подземелья золота, где жил Ленин, сидел там на набережной реки Лиммат, в кафе Одеон, кушал штрудель и осыпал сладкие крошки на том Маркса... При слове «Цю-юрихь» во рту делалось сладко...

В купе Лидия сидела с прямой спиной, запрокинув голову назад, в сторону тяжелого пучка, механически подправляла пальцем кончик носа — обычно, когда она, откусывая кусок, широко рот раскрывала, на кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. За окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние два с половиной года измечтавшаяся об этом часе, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки — за окном пока простирался исключительно сорный кустарник и пригородные свалки, — и вроде как бы затосковала по Родине, хотя чего тосковать-то, вот она тут вся, миллион николаев в кирзе, миллион теток вроде тети Насти, ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе, жива

ли, померла... Один родной человек, Эмилия Карловна. Она одна и понимала Лидию. Само собой. Зельбстфершендиг.

Две пожилые торговые польки, соседки по купе, что-то у нее спрашивали на средне-славянском языке, а у Лидии такая на душе была смута, что она сказала им, сама от себя не ожидая, очень уверенно: Ентшульдиген битте, ихь ферштее нихьт... И польки сразу же поняли, что ошиблись, приняли немку за русскую, хотя видно же, что немка, костюм джерси буржуазного качества и кольца на пальцах...

Ах, Мартик, Мартик! Вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок! Встретил на вокзале в Цюрихе, в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатенькой шляпке, поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку. Ну прелесть просто. И одеколоном пахнет, и сам чемоданы не хватает, как русский мужик, а носильщику машет, и Лидию целует, и под руку ведет... А кругом такая заграница, что даже в кино такого не показывают. Например, был фильм про Рим, Лидия его хорошо помнит, так там грязь, свалка, развали-

ны, недалеко от нашего ушли, и едят еду бедную, как у нас, те же макароны, и еще в кино показывают. Понятно, почему они настоящую заграницу не показывают, не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма два года ходила, где голову всем дурили...

Первый год в Цюрихе был самый счастливый. Капиталу пока немного не хватало на аренду подходящего помещения для ресторана, потому жили прижимисто, снимали студию, не квартиру, так, малехонькое жилье, а платили за него... Не ожидала Лидия, что все так дорого в богатой Швейцарии, уж на что она была ловкая, хорошо умела приспособиться, но туговато приходилось. Мартин расходы все сам проверял, он в бухгалтерии понимал. Лидия сразу же хотела на работу устроиться, но он поначалу не разрешал, однако потом согласился. Дипломы все свои Лидия на немецкий язык перевела, и взяли ее в маникюрши. Мартин удивлялся даже, как у нее хорошо дело пошло. К концу года оформили аренду, чудесное место для ресторана, там раньше была кантина какая-то, это тоже было хорошо, ведь когда народ привыкает, что в этом месте кормят, то по старой памяти идут.

Мартин выписал свою кузину из деревни, простая такая женщина, практически она и была деревенская, хотя одета по-городскому. Но не особенно. Лидия уже начала понимать кое-что, даже, может, побольше, чем Эмилия Карловна, в каких магазинах покупают люди победнее, в каких — побогаче. И Мартин очень это понимал, потому что жена его Элиза была из богатых и его приучила. Теперь Лидия знала, что заграничное заграничному рознь. Было, конечно, кое-что непонятное в деталях, почему, например, английский магазин еще дороже швейцарского, по качеству — не различишь, хоть на зуб пробуй. Или французское — красота есть, но опасная, с качеством не очень. Про итальянское и говорить нечего.

Перед открытием ресторана Мартин объявление дал, разослал знакомым приглашения, по всему району листки развесил: ресторан «Русский дом» приглашает на русский ужин. Одного официанта русского наняли, чудной немного, перемещенный, не совсем русский, но слово «борщ» хорошо выговаривал. Второго, местного парня, на один раз взяли.

Первый вечер ресторанный прошел очень хорошо. Это был последний счастливый день в жизни Лидии. Наутро все кончилось. Мартин в шесть, как они обыкновенно поднимались, не проснулся. Спал и спал. Лидия сначала не хотела его будить — устал, пусть выспится. В десять стала его будить, а он не просыпается. Лежит на боку, и одна рука неловко так расположилась. Лидия тронула — а она холодная. Дышать-то он дышит, но в себя не приходит, и тяжелый очень. Вызвали врача и увезли сразу в больницу. Инсульт. Все. Она сразу же посчитала: длилась ее счастливая жизнь один год двадцать один день. От приезда до удара. А дальше — страшный сон.

Одно только хорошо — все больницы у них, как у нас Кремлевка. Сестры все сами делают: и пеленки меняют, и кормят. Даже ночное дежурство у них бесплатное. Когда Иван Савельич в больнице лежал — у него было раковое заболевание, — так они втроем с Эмилькой и Лорой с ног сбивались. И Лидия понимала, как ей повезло с этой Швейцарией. Сначала через уколы растворы питательные вливали, потом стали сестрички кормить. Три месяца он ни туда ни сюда, непонятно

даже, узнает Лидию или нет. Другой раз вроде узнает, а другой — нет... Ходить не может. Но в кресло его пересадили. Лидия по утрам его навещает, двумя автобусами, три с половиной часа занимает. А ресторан-то на ходу. И закупить, и приготовить — когда? Записалась в автошколу. Машина есть, а прав у Лидии нет. Дура, дурища, — ругала себя Лидия, — столько всего лишнего изучила, а водить не научилась. Занятия на курсах три месяца идут, да по четыре часа три раза в неделю. Каторга, а не жизнь. Спала по хорошим дням часов по пять, по плохим и трех не набиралось. Мартина жалко, да только жалеть некогда. Он как ребенок маленький, пух на затылочке слежался, уж Лидия, как забрала домой, вылизала его, массаж стала делать ежедневно, по часу. Врачи говорили, что не восстановится, но ножка левая, пораженная, потихоньку стала укрепляться. Еще месяца три прошло, и он уже стоял на ногах, за спинку кресла держался и стоял.

А ресторанное дело шло хорошо, Лидия его не бросала. Пришлось, конечно, сделать упрощения, вроде наших комплексных обедов. Но жизнь в Швейцарии оказалась ох труд-

на. За все — плати. Электричество, вода, бензин, мусороуборка, а налоги вообще отдельная песня. Пришлось опять на курсы идти, задаром никто ни слова тебе не скажет. Народ швейцарский сначала Лидии очень понравился за вежливость и за чистоту. Но — себе на уме. Раньше, на Родине, Лидия сама себе казалась очень умной. А здесь все оказались такие же умные, наперед все просчитывают.

Русский ресторан швейцарцам пришелся по вкусу именно потому, что они быстро сообразили, что за те деньги, которые в нем оставляют, питание получают очень качественное. И если б Лидия была не одна, она бы уже через год расширила помещение, там веранду можно было летнюю освоить. Да и, с другой стороны, она бы не побоялась и побольше помещение арендовать. Если бы Мартин был человек, а не инвалид окончательный.

Но ни горевать, ни размышлять времени не было, потому что дел невпроворот: утром умыть Мартика, потом массажик, потом на горшок, потом покормить его. Раз в два дня за овощами к фрау Темке на ферму, раз в два дня к мясникам. Рыбу привозили домой,

а за бакалеей она ездила к оптовикам, но это раз в две недели. Готовила она одна. Конечно, все было продумано, холодильник пришлось промышленный купить, многое замораживала, хотя никому бы не призналась. У них вообще-то не принято было продукты морозить. Фарши для блинчиков — раз в неделю готовила, и в заморозку. Ну, рыбу, конечно, нет, вкус сильно теряет. Если честно признаться, швейцарцы в кулинарии не очень и понимали. Ценили, что порции были большие.

Лидия весь год тряслась от страха, что не сведет концы с концами, но в конце года оказалось, что свелись концы хорошо, и еще привесок образовался. Его Лидия поместила в банк на свое имя. Вот тут-то она и поняла смысл швейцарской жизни. Если бы Мартик был здоров, она б, может, этого и не поняла в дыму брачного счастья. Но поскольку оно кончилось, то Лидии открылось, что счастье выражается здесь цифрами. Больше цифра — больше счастье. Не одними голыми цифрами, а с большими тонкостями: должны еще быть люди, которые бы оценивали твой успех, догадывались бы о твоем уме и таланте по неприметным признакам. Забор два раза в год краси-

ла... Новые цветы на террасе посадила... Занавески английские повесила... Кто понимает... Туфли Балли, пальто Лоден. Эмилии Карловны нет, поглядела бы.

Деревенскую сестру Мартика Лидия прогнала, только под ногами путается, а в жизни, хоть швейцарка коренная, ноль понятия. Вместо нее наняла других помощников, югославку толковую, тоже за швейцарцем замужем. Еще одну помощницу наняла: хромую, очень некрасивую женщину, но быструю и дельную. Ей Лидия и у плиты кое-чего несложное доверяла. Тоже потом оказалось, что она не настоящая швейцарка, а из евреев. Еще один официант был итальянцем. Но это дело известное, что итальянцы все — прирожденные официанты: приветливые, улыбаются и шутят. Но вороваты. Впрочем, у Лидии не украдешь, хорошо следила. Репутация — нешуточное дело, ее и за деньги не купишь. Она как зернышко — посадил в горшок, поливай, удобряй, оно растет. Год, другой, третий... Год, другой, третий...

Мартик похудел, обветшал, стал старичком. Зато Лидия, в России еле-еле сходившая за дурнушку, здесь считалась интересной да-

мой, ее даже за француженку иногда принимали. Она заново научила мужа ходить, он теперь ковылял с палочкой по дому, гулял в их садике. Лидия купила ему породистую собачку, серого карликового пуделя, назвала его Милок. Содержание Милка обходилось в копеечку — то прививки, то ветеринар. Но оказалось, что и здесь Лидия не прогадала. Швейцарцы животных любили, приходили ужинать семейные пары, детишки с Милком играли и потом просили родителей снова с русской собачкой поиграть. Хорошая клиентура. А Мартика дети звали «собачкин дедушка».

Когда жизнь с русским рестораном и мужем-инвалидом совершенно наладилась и вошла в колею, Лидия, по старой памяти, снова пошла на курсы. Два года занималась французским, освоила, разумеется. Подумывала об английском... Хотела бы заниматься горнолыжным спортом, но оставлять на несколько дней ресторан, Мартика и Милка было немыслимо. Хотя теперь она уже не стояла у плиты, а были у нее два повара, которых она сама всему обучила. Два раза в неделю ходила в бассейн, иногда в женский клуб, где были встречи с другими деловыми женщинами. Схо-

дила она к деловым женщинам раз, другой и поняла, что лично ей не хватает в жизни признания. Все эти женщины тоже ходили в обуви от Балли, носили норковые шубы и часы Ориент, и Лидии было даже обидно, что для них это обыденная жизнь, и не могла же она им объяснить, что все они глупые домашние куры, а она, Лидия, птица высокого полета, потому что они-то родились в Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, Лидия, в избе с земляным полом и соломенной крышей, до пятнадцати лет ходила либо в валенках, либо босиком, а штаны первые завела уже в Москве, когда, по большому везению, попала в прислуги к хорошей барыне, а до того ходила без порток, как все белорусские крестьянки... Возникла какая-то досада. И старая, придавленная и недодуманная мечта, как зародыш болезни, стала развиваться, и оформляться, и приобретать определенные черты, и Лидия в деловой книжечке в последнем, для души предназначенном разделе, куда деловые женщины вносили даты встреч с любовниками, гинекологами или врачами-косметологами, завела списочек, в который вносила, что именно и в каком количестве надо ей купить для

поездки в Москву. Там жил единственный в мире человек, который мог оценить ее, Лидии, великий взлет...

Как и все свои предприятия, Лидия сначала все основательно обдумывала. Связей с Москвой у нее никаких не сохранилось: Эмилия Карловна при прощании сказала ей, что желает всех благ, но просит писем не писать и по телефону не звонить. К этому времени уже начались первые неприятности у Лоры, потому что ее муж Женя что-то подписывал, болтал направо-налево и навлекал на семью неминуемые неприятности. Лора же смотрела ему в рот, своей головы не имела, а к материнским советам не прислушивалась. Эмилия Карловна советскую власть ненавидела, но чувства свои упрятала на дно декретом отмененной души, зато страстно презирала дурака Женьку, который болтал как глупый попугай... Приятельницы Лидии из Дома пионеров и из других мест, где приходилось ей учиться и работать, не стоили даже расходов на почтовые марки. Только одна была доверенная подружка, соседка Варя, с которой первое время Лидия поддерживала какую-то

хилую связь, но после несчастья с Мартиком перестала ей писать. Чего писать-то?

Теперь Лидия написала Варе, попросила ее позвонить Эмильке и узнать, как та поживает. Варя просьбу выполнила, Эмильке позвонила и сообщила Лидии, что те живут попрежнему, все на старом месте...

Лидия купила хорошую дорожную сумку — до тех пор она никуда не путешествовала и сумок не заводила. И начала по списку покупать Эмильке подарки. Решила, что оденет ее с ног до головы. Во все самое лучшее. Полный комплект, как новорожденным... Свободное время Лидия проводила теперь в магазинах. После Рождества, когда начались большие распродажи, она завершила свою закупочную кампанию, которая заняла у нее почти полгода. Сумка приняла в свои клетчатые недра первосортного товара на три тысячи швейцарских франков без самого малого. Белье, чулки-колготки. Босоножки, туфли, сапоги. Костюм джерси-шерсть и костюм шелковый, жакет, шляпа, шарф. Сумка, перчатки. Все — в гамме. Потому что у Лидии — вкус. Эмилька научила.

А еще в дамской сумочке лежали золотые часы марки Ориент в футляре, который сам по себе представлял произведение швейцарского искусства.

Затем Лидия купила себе трехдневный индивидуальный тур в столицу нашей Родины Москву с пребыванием в гостинице «Москва».

Прошло больше десяти лет с тех пор, как Лидия в первый раз провожала Мартина в Цюрих, после памятного и судьбоносного обеда с мытьем ног и черной икрой. Шереметьево не изменилось. Лидка-гусыня прекрасным лебедем не стала, но и от нее прежней тоже ничего не осталось. Она была гражданка Швейцарии, фрау Гропиус в скромном с виду пальто из плащевой материи с нежной подкладкой из меха кенгуру. Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную сумку, а встречала ее переводчица из Интуриста, мелкий лейтенант из КГБ, с казенной улыбкой и листом бумаги с ее, Лидиной, фамилией. Такси довезло их до Манежной площади. Лидию по дороге тошнило — от волнения. Переводчица говорила с ней на дурном немецком языке, Лидия своего русского не открывала. Зачем? Поужинала в ресторане на

втором этаже. Салат столичный и студень. Попробовала и отложила вилку. Тошнило.

Следующий день ее возили по городу, показали Бородинскую панораму и Университет на Ленинских горах. Обедала в ресторане «Центральный». Русская кухня. Метрдотель был все тот же. Не узнал, конечно. Вечером — Большой театр. «Лебединое озеро». Сидела в третьем ряду, в фиолетовом шелковом костюме, с бриллиантовой брошкой в виде стрелы. Рядом сидели американцы. Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом колпаке поверх накруток. Они собирались после театра в ресторан. Видимо, кудри ей были нужны к ужину. Балет был шикарный. В Цюрихе они с Мартиком по театрам не расхаживали. Вот в Москве в свое время она часто билеты доставала — и на Таганку, и на Бронную...

На другой день, в воскресенье, она сказала переводчице, что у нее болит голова и она программу сегодняшнюю отменяет. Та предложила прислать врача, но Лидия отказалась. Хотя голова действительно болела и снова тошнило. В два часа дня, взяв сумку, она вышла из гостиницы. Ехать в такси было пять ми-

нут — жила Эмилька на Маяковке. Вышла у серого кирпичного дома на Второй Тверской Ямской. Углом, странно поставленный дом, для главного ведомства страны после войны построенный. Иван Савельич незадолго до выхода на пенсию получил здесь двухкомнатную квартиру. Поднялась на четвертый этаж. Вспомнила, как тридцать, что ли, лет назад в первый раз в эти хоромы входила. Газ. Электричество. Колонка с горячей водой. Ванная и уборная — все в первый раз тогда увидела.

Звонок все тот же, белая кнопочка на черном деревянном кружке. Нажала. И звонит тем же голосом. Открыли, не спросив. Лора. Вы к кому? К вам. К Эмилии Карловне. Я — Лидия. Лора, не узнаешь?

— Лида! Лидочка! Тебя просто Бог послал! — обрадовалась Лора.

В те годы каждый иностранец был большой ценностью: через него можно было и письмо переправить, и документы. Казенная почта вся просвечивалась. Но Лидия отметила с раздражением: ишь, как из Цюриха с сумкой, так Лидочка. А в прежние годы рожу корчила. Вот потому в сумке ничего и не было для Лоры предназначенного.

Далее Лидия вдохнула родной запах старой квартиры и сняла ботиночки. Можно с ума сойти: в калошнице стояла обувь, которую Лидия знала наизусть. Коричневые домашние туфли «для гостей» и две пары детских — следы профессиональной деятельности.

— Детки все еще ходят? — спросила Лидия с улыбкой.

Лора махнула рукой:

— Да какие детки...

И Лидия вошла в большую комнату, где когда-то собирался частный детский сад, и стоял длинный стол, и шесть стульев, и пианино, на котором Эмилия Карловна небойко играла польку и вальс, а дети танцевали, и маленький столик у большого дивана, покрытого ковром ручного тканья... А в эркере, спиной к двери, стояло инвалидное кресло на колесах, нескладное, больничное, крашеное белым по железу, и над спинкой возвышалась негая пышная голова а ля Помпадур. Лора вошла в эркер, развернула кресло и вывезла на свет божий Эмилию Карловну.

Она была так похожа на Мартина, как будто была ему сестрой, матерью или бабуш-

кой. Чудесная белоснежно-дряблая кожа, маленький подбородок, из-под которого, как жабо, вылезал второй, жидкий и почти прозрачный, бледно-голубые глаза в круговых складках нежной кожи, и извиняющаяся улыбка, съехавшая на один бок... Только у Мартина нос был короткий, с выпуклыми ноздрями, а у Эмилии Карловны длинный, в конце заостренный и с горбинкой...

— Мама, посмотри, кто пришел! Лидия пришла! Помнишь Лидию?

В правой руке у Эмилии Карловны была зажата колода карт, и она одной рукой их не то перебирала, не то просто щупала. Забыла, совсем забыла Лидия, что больше всего на свете старая ее хозяйка любила раскладывать пасьянсы. Да карты же надо было купить! Как это я забыла, мелькнуло сначала у Лидии...

— Эмилия Карловна, это я, Лидия. Узнаете?

Эмилия Карловна улыбалась Мартиковой деликатной улыбкой, и круглая бусина слюны собиралась в углу рта.

— Давно? — спросила Лидия.

— Почти год, — тихо ответила Лора. — Кошмар. Мы документы на выезд подали на

всех, а как ее везти, непонятно. Я как тебя увидела, так сразу и подумала — вот кто помочь-то сможет. Мы ведь через Вену летим, от вас недалеко. И там неизвестно сколько ждать. Если бы ты нас встретила... Или хотя бы письмо через тебя послать в Сохнут, чтобы они нас встречали с коляской... Я уверена, что разрешение вот-вот придет. Есть такие приметы... Понимаешь, мой муж, Женя, он в Америку ни в какую, ему только Израиль подавай... Я бы лучше в Америку...

Лидия молчала, вживаясь в ситуацию. А Лора трещала не замолкая и все время крутила пальцы, слегка их поламывая.

— Мам, мам, — время от времени вспоминала Лора о цели Лидиного визита, тормошила Эмилию Карловну за плечо, — посмотри, кто пришел, мам... Лидия пришла. Узнаешь Лидию? Понимаешь, мы бы давно подали, но мама в Израиль ехать отказывалась, очень, очень против была... А Женя — только в Израиль. Многие наши друзья Америку даже предпочитают. А мама, ты, может, не знаешь, при всех ее достоинствах немного антисемитка. И в Израиль — уперлась — нет и нет. А уж когда она заболела, мы подали. Ей

теперь не все равно? Правда? А ты когда уезжаешь, Лид?

И Лора пошла ставить чайник, а Лидия села рядом с Эмилькой и взяла ее за руку:

— Эмилия Карловна, как я рада вас видеть... Вы все красавица... Чувствуете-то ничего? А у Мартика моего тоже ведь инсульт, семь лет уже. Но он сейчас получше, ходит. Раньше тоже все в кресле сидел. А теперь ходит, и собачку я ему купила...

Эмилия Карловна как будто слушала и как будто понимала. Потом пришла Лора с чайным подносом. Сахарница, молочник, чашки розовые — все было родное. И печенье было то самое: два желтка стереть с полстакана сахара, сто граммов шоколадного масла... Научилась Лора. Раньше не умела. Эмилия зашевелила пальцами и открыла рот. Раздалось что-то вроде «уать».

— Сейчас, мамочка, — и Лора сунула в подвижную, правую руку половинку печенья.

Эмилия запихнула его в рот и счастливо зажевала.

— Вот такие дела, понимаешь, весь бы день ела и ела. Злится, если не даю. А потом с желудком проблемы. За год без клизмы ни разу...

Лидия раскрыла сумочку и вынула из нее плитку шоколада, предназначенную горничной. И, подумав, достала только что начатый небольшой флакон духов — Шанель номер пять. Свой собственный...

— Это, Лора, тебе сувениры.

Эмилия Карловна ела печенье одно за другим, напрочь забыв о деликатной науке поглощения пищи, которую преподавала годами своим воспитанникам. Она засовывала печенье глубоко в рот, проталкивая его обломанными ногтями, и крошки падали на грязный воротничок, на протершуюся грудь старой кофты, и у Лидии ломило затылок и тошнило ее по-настоящему. Она не знала еще, что это был первый признак надвигающейся гипертонии.

— Я пойду, Лора. Завтра утром позвоню, перед отъездом я вас еще увижу.

— Да посиди, скоро Женя придет, — искренне просила Лора, но Лидия страстно хотела поскорее унести отсюда ноги, быстро переночевать и уехать навсегда-навсегда.

Обула ботиночки, надела плащевое пальто на австралийском, спрятанном от посто-

ронних взглядов звере, и с усилием подняла клетчатую сумку:

— Мне еще надо в одно место заехать, вот отвезти просили друзья...

Квитанции все были одна к одной, на всякий случай, по привычке делового человека в верхнем ящике письменного стола дома сложены, в отдельном конверте.

Сдать обратно можно. Всегда есть смысл в дорогих магазинах покупать — и сдать, и обменять можно, тем более, когда тебя уже знают.

Такси она просила переводчицу заказать на более ранний час, чем следовало бы. Переводчица просто лишилась дара речи, когда Лидия сказала шоферу на чистом русском языке:

— По дороге в Шереметьево мне надо заехать на Спартаковскую улицу, я покажу вам, где поворачивать.

Заехали на Спартаковскую. Дом стоял как стоял, четырехэтажный король-корабль среди одноэтажных дровяных бараков. Трущоба трущобой. Она улыбнулась, представив себе, что испытал Мартин, когда первый раз вошел в ее убогую квартиренку. Сначала она думала

подняться на третий этаж, позвонить в свою дверь, попросить, чтобы ей показали, как сейчас выглядит ее прежнее жилье. А потом подумала: зачем?

И велела ехать в Шереметьево. Чемодан и клетчатую сумку сдала в багаж. Об обещанном Лоре звонке и не вспомнила.

Всю дорогу в самолете она умирала от нетерпения: скорей бы попасть домой, поцеловать Мартика в опустившийся уголок рта. Он был получше, гораздо получше, чем Эмилька. Он все же ходил, улыбался более внятно и говорил некоторое количество слов вполне осмысленно. Да и вообще — как там три дня без нее дела двигались...

Голова все болела и тошнота не проходила. Она прошептала почти про себя, но все-таки немного вслух: Цю-юрихь... Цю-юрихь... И задремала с мыслью: а все же я самая умная...

ЖЕНЩИНЫ РУССКИХ СЕЛЕНИЙ...

Стол был накрыт с роскошью бедняков: вся еда, приготовленная без соприкосновения с руками человека, была куплена в Зейбарс, в дорогой кулинарии на 81-й, приволочена Верой на своем горбу через весь Нью-Йорк в Квинс и разложена наспех в простецкие китайские плошки. Еды оказалось вдвое больше, чем нужно для трех стремящихся к похуданию женщин, а выпивки — на пятерых пьющих мужиков, которых как раз и не было.

Обилие выпивки образовалось случайно: хозяйка дома Вера выставила от себя водки обыкновенной, без затей, и еще одна стояла в шкафчике, и обе гостьи принесли по бутылке: Марго — голландский Cherry, а Эмма, москвичка командировочная, — поддельный Наполеон, приобретенный в гастрономе на Смоленской для особо торжественного случая. Он

и представился, этот случай, выпала эта безумная командировка, о которой она и мечтать не мечтала.

Теперь Марго с Эммой сидели перед накрытым Верой столом, а сама хозяйка вышла погулять с Шариком, который долго терпеть от старости не мог, а гадить в доме от благородства не смел, и потому жестоко страдал от внутреннего конфликта... Сидели молча перед накрытым столом и ждали самое Веру, с которой Марго была очень дружна в американской жизни. Между собой Вера с Эммой были знакомы заочно. Благодаря Маргошиной болтливости, многое друг о друге знали, но увиделись в этот вечер первый раз. Со вчерашнего вечера между Марго и Эммой пробежала какая-то давняя кошка, и Эмма старалась вспомнить теперь, почему она от Маргоши в давние московские времена иногда отдалялась, а потом снова к ней возвращалась, как к старому любовнику...

Остановилась Эмма не в гостинице, а у Маргоши, с которой не виделась ровнешенько десять лет. Родились они в одном месяце, жили в одном московском дворе и учились в

одном классе, и до тридцати лет расставались разве что на несколько дней, а потом непременно вываливали друг дружке во всех подробностях все свои приключения за истекший период. В один год родившиеся дети сблизили их еще более — уложив детей, встречались на Эмкиной кухне, выкуривали по пачке «Явы», исповедали друг другу привычно все мысли и дела, грехи вольные и невольные, и расходились, очищенные, сытые разговором, в третьем часу ночи, когда спать оставалось меньше пяти часов.

Теперь, после десятилетней разлуки, они вцепились друг в друга и испытали такое счастье взаимопонимания, какое знакомо лишь музыкантам в хорошей джазовой сессии, когда каждый поворот темы наперед чувствуешь специальным органом, всем прочим людям не предоставленным. События жизни все были известны: переписывались хоть и не часто, но регулярно. Однако много оставалось такого, чего в письме не напишешь, что понимается только с голоса, с улыбки, с интонации... Марго три года как развелась со своим алкоголиком, Веником Говеным, как она его называла, и проживала теперь эпоху выхода из тьмы египетской. Пус-

тыня, в которую она теперь попала, предоставляла ей неограниченную свободу, но счастливой она себя не чувствовала, потому что место, которое прежде занимал Веник со своими пустыми бутылками в портфеле, в гардеробе, среди детских игрушек, с грубостью пьяного секса, с воровством семейных денег — детских, квартирных, каких угодно, — это пустое место проросло ужасными ссорами со старшим шестнадцатилетним Гришкой и полным отчуждением девятилетнего Давида... И все это она объясняла Эмке, а Эмка только квакала, качала головой, вздыхала и, практической пользы не принося, так страстно сочувствовала, что Маргоше как будто становилось легче. А потом Эмма хвалила ее за успехи в эмигрантской жизни, за великие подвиги, которые Марго действительно совершила, подтвердив свой диплом и уцепив скромную золотую рыбку в виде должности ассистента в частной онкологической клинике, с хорошей перспективой получить собственную лицензию и так далее... Долго объяснять.

Первые три дня, вернее вечера, поскольку днем подруги разбегались по своим рабочим делам, были посвящены, главным обра-

зом, разбору полетов Веника Говеного, и Эмма только диву давалась, почему это отсутствие мужа совершенно равно его присутствию. Казалось бы, промучилась столько лет с плохим человеком, к тому же и алкоголиком, боялась развода, как полагается восточной женщине, набралась куража, развелась — и живи себе спокойно. Нет, теперь страдает, зачем так долго страдала... И так же долго, с подробностями, все это излагает... Но настал вечер, когда Марго наконец спросила у Эммы:

— А твои-то дела как? Что там у тебя с твоим героем?

И в голосе почудился искренний интерес.

— Все, — вздохнула Эмма. — Рассталась. Окончательно. Начинаю новую жизнь.

— Давно? — встрепенулась Марго, которая старую жизнь уже закончила, но новая все никак не начиналась.

— За день до отъезда. Восемнадцатого.

И она подробно рассказала, как встретилась с Гошей последний раз. Как пришла к нему в мастерскую, всю заставленную из железа скрученными людьми, такими трагическими, понимаешь, как будто заблудившимися в материале, — случайно ожили не в теле,

а в жестком металле, и страдают от своего ржавого несовершенства...

— Ты меня понимаешь?

— Вроде да. Так и что? Встретились...

— Тупик. Мы попали в тупик, и деваться некуда. Его дебилка жена, беспомощная дура, дочка одна больная, вторая просто психопатка, деваться ему от них некуда, а я только усугубляю все... И от наших отношений всем только хуже. Да и пьет-то он от безвыходности...

Марго смотрела на Эмму своим армяно-азербайджанским взором, и легкий испуг превращался в тихое отвращение, пока не прорвался непристойным вопросом:

— Эм, а ты с ним, с пьяным, спишь?

— Маргоша, да я его трезвым за восемь лет, может, два раза видела. Он трезвым никогда не бывает.

— Бедная, — зажмурила свои преувеличенные очи Марго, — я тебя понимаю...

— Не понимаешь, не понимаешь, — замотала головой Эмма. — Он потрясающий, и не важно, пьяный, трезвый. Он — то, что нужно каждой женщине. Он мужчина до мозга костей. Он просто попал в ужасное положение. И меня туда завел, в это ужасное по-

ложение. Он ни в чем передо мной не виноват. Обстоятельства... Но я уже все, решилась. Я выскочу. Я не должна ему мешать, он творческий, он особенный. Совсем не похож на инженерское быдло. У него весь мир другой. Конечно, я никого даже близко на него похожего не встречу, это ясно. Но он у меня был, это кусок моей жизни, целых восемь лет, и этого никто у меня не отнимет. Это — мое.

— А ты почему думаешь, что ты с ним навсегда рассталась? Ты мне три раза уже писала, что ты с ним порвала. И всякий раз — снова. У меня все письма твои хранятся, — невеликодушно напомнила Марго.

— Знаешь, я раньше только о том думала, как ему лучше. А теперь я посмотрела на это с другой стороны — о себе подумала. Теперь — ради моей жизни. Мне сорок исполнилось...

— Это я знаю, и мне, — заметила Марго.

— Так вот, самое время начать новую жизнь. Мы расстались — по моему сценарию, понимаешь? Это я выбрала время и место. И мы провели нашу последнюю ночь... Которую я никогда не забуду. Потому что это выходит за пределы того, что обыкновенно про-

исходит в сексе. Это — за пределом. Перед лицом неба. И эти железные люди, которых он сковал, они как свидетели... Ты себе не представляешь, что это значит — жить с художником...

— Не, не представляю. Венька — программист. Правда, очень хороший. Он совершенно не возвышенный, ты его знаешь. Он эгоист распоследний и, кроме компьютера и водки, ни в чем не нуждается... Ты, Эмка, всегда была необыкновенная, и любовники у тебя необыкновенные. Венгр какой был! Как его, красавец?

— Иштван.

— Да и муж твой, Санек, какой приличный был... Ты себе еще найдешь и замуж выйдешь... А я... — Марго засунула большие пальцы под лифчик, приподняла свое цветущее, но слегка поникшее хозяйство. — При всем при том... — Она встала, повернулась, покачала боками, чтобы весь чудесный ее кувшин — грудь, тонкую талию, убедительный крутой разворот крупа — подтвердить... — и на хер никому не нужно! За всю жизнь ни с кем, кроме Веника Говеного, не переспала. С восемнадцати лет... Объясни мне, Эммочка, почему

так получается: роста у тебя нет, сисек на второй номер не соберешь, ноги, извини, кривые, почему у тебя всегда навалом любовников...

Эмка засмеялась добродушно, нисколько не обидевшись:

— За что, Маргоша, тебя люблю — за искренность. Хотя ответить могу — да я тебе это давно говорила. Армяно-азербайджанский конфликт. Ты его разреши сама в себе — ты женщина восточная или западная? Если восточная — не разводись с мужем, а если западная — заведи любовника и не делай из этого проблемы...

Марго неожиданно обиделась:

— Да я же всю твою семью знаю, и маму, и бабушку, чем твои еврейки лучше моей армянской мамы? Чем это вы западные?

— Западная женщина себя уважает. Помнишь мою бабушку?

Марго, конечно, помнила. Уж да, важная была старуха Цецилия Соломоновна. Царица. Но ноги, между прочим, тоже кривые были... Может, правда, западная?

На этой вздорной ноте Марго собрала со стола посуду, вздохнула, взглянув на часы, потому что, как в московские времена, шел

третий час, а вставать было в семь — и разошлись спать по комнатам: Марго в спальню, а Эмма в гостиную, где был новый гостевой диван, купленный после ухода Веника, когда денег в доме стало, как после большого выигрыша в лотерее...

Вера вошла — розовая, с молодым морщинистым лицом и плохо выкрашенными волосами. За ней — Шарик, вразвалку, по-старчески, и сел слева от Вериного кресла с лицемерным безразличием к накрытому столу.

«Вот парочка, не скрывающая своего возраста», — подумала Эмма с симпатией.

Вера плюхнулась в плетеное кресло, оно тонко пискнуло. Протянула руку за бутылкой:

— Дата неровная, но я все считаю по месяцам: сегодня семнадцать месяцев, как Мишка умер.

Она разлила, не спрашивая, водку по стопкам, и Эмма отметила, что стопки московские, хрустальные, сталинских времен.

— Царствие Небесное, Мишенька! — радостно воскликнула Вера и опрокинула стопку. Потом вздохнула. — Полтора года... Как будто вчера...

Взяла с блюда кусок копченой индейки, бросила собаке:

— Лопай, Шарик, это чистый яд для тебя.

Собака оценила хозяйский жест и, разрываясь между двумя острыми желаниями — немедленно благодарственно лизнуть руку и немедленно же проглотить загорелый кусок божественного вкуса, — заметалась... Сложный был у Шарика характер.

— Нажремся сейчас... — мечтательно произнесла хозяйка. — Давайте, давайте, девочки! С тех пор как Мишки не стало, я, кажется, ни разу не готовила еды... Все в забегаловках. Марго! Ну, что ли?

И то ли оттого, что действительно проголодались, то ли оттого, что собака страстно стонала над индейской косточкой, набросились на еду, забыв о приличиях, вилках и паузах... Жор какой-то нашел. Даже и не похваливали еду, молча и яростно жевали, подкладывали, подливали, и Шарик под столом оживился — ему тоже подбрасывали. И все было такое вкусное — и рыба красная, и салаты, и пироги, и паштет... И вкус еды неамериканский. О чем Марго и сказала. Вера засмеялась:

— Неамериканский, конечно! Еврейский

вкус у этой еды. Этот магазин, Зайбарс, еврейский. Мы с Мишкой его облюбовали сразу как приехали. Дорогущий был. Денег тогда не было, мы по сто граммов покупали — форшмак, паштет, и хлеба черного в те времена в Америке еще не было, только у них. Здесь, в Америке, евреев из России называют русскими, зато русские, как я, отчаянно жидовеют, — засмеялась Вера, обращаясь к Эмме, которая местных условий не знала. — Бедная моя бабка накануне свадьбы умерла, боюсь, от горя, что любимая внучка выходит за еврея... А мамочка все говорила:

— И пусть, что еврей, зато хоть один зять непьющий будет!

И Вера захохотала звонко, и морщины просто в два букета собрались — на одной щеке и на другой, и — удивительное дело! — от них она еще больше помолодела.

— Сильно пил? — спросила Эмма. Вопрос этот ее глубоко занимал.

— Пил, как еще, — сморщилась Марго.

— Ох, да как пил! — Вера повернула свое улыбающееся лицо к большому портрету покойного мужа. Портрет был раздут со старой послевоенной фотографии. Качество неважное.

Молодой солдат, с косым кудрявым чубом из-под пилотки, с папироской в углу рта. — Хорош, да? Всем был хорош. И пил хорошо. От цирроза печени он умер, Эммочка.

Марго положила свою большеволосую голову на мраморную с прожилками руку. Она была богиня, натуральная богиня, с римским носом, изо лба растущим, нечеловеческого размера глазами и большими губами, наподобие лука изогнутыми:

— Верочка, Миша твой, конечно, был человек прекрасный, обаятельный, и вообще — личность выдающаяся. Но ведь ты же мучилась как с ним, из-за пьянства этого. Я-то знаю! Чего же хорошего в питье может быть? Ведь потеря человеческого образа! Нет, разве?

А Вера отставила пустую бутылку водки, незаметно как-то она пролетела, достала вторую, и все с той же улыбкой:

— Глупости какие! Пьянство освобождает... Когда человек хороший, он пьяным только лучше делается, а если говно, то говнеет. Поверь моему слову, уж я-то знаю! Погодика! Чего-то мне не хватает! — и Вера вскочила, покопалась на какой-то полке, достала кассету, включила. Голос вкрадчивый и убеди-

тельный пропел-проговорил: самогона взял поль восемь, косхалвы, пару рижского и керченскую сельдь...

— Мишка любил его... Собутыльники были, друзья...

Но никто бедной гитары этой не слушал, и голос из прошлого висел в воздухе, а говорили о своем. И пили: Вера — водку, Эмма — фальшивый коньяк, а Марго — всего понемногу, мешая.

И, странное дело, постепенно менялись, все в разные стороны: Вера веселела, шла на подъем, Марго мрачнела, сердилась и как будто раздражалась, что это Верка так радуется, а Эмма смотрела на них, и ей казалось, что сейчас узнает она что-то важное, что поможет начать новую жизнь. И слушала во все уши, больше помалкивая. Тем более, что алкоголь ее сегодня не очень брал.

— А, что ни говори! — Вера сделала рукой русский размашистый жест, как будто собиралась «Барыню» танцевать. — В России все самые талантливые, все самые лучшие люди испокон веку — пьяницы! Петр Первый! Пушкин! Достоевский! Мусоргский! Анд-

рей Платонов! Венечка Ерофеев! Гагарин! Мишка мой!

Марго выпучилась:

— Да Мишка-то твой причем, Вера? Ну пусть Гагарин, черт с ним! Но Мишка, Мишка-то?

Вера вдруг сникла, посерьезнела, сказала тихо:

— Так он и был из лучших людей в России... Честный...

Но Маргошу несло, не остановишь:

— А Петр Первый причем? Сумасшедший был! Сифилитик! Ладно, хоть император! Но Мишка твой вообще еврей! И чем он честный? Чем? Сколько ты из-за него говна скушала? Честный!

Марго теперь уже обращалась не к Верке, а к Эмке:

— Честный он! Слышать не могу! Сколько она абортов от него сделала, от честного? Сколько баб он успевал оприходовать, пока ты по абортариям корячилась? Да среди подруг ни одной не было, чтоб он не потыкал. Тьфу!

— Ну к тебе-то не приставал? — фыркнула Вера.

— Да почему ж не приставал? Ко всем приставал, а ко мне нет? Только ему у меня не обломилось! — гордо отрезала Марго.

— Ну и дура! Переспала бы с Мишкой, может, и с Веником получше бы пошло!

— Перестань. Мой Веник Говеный, но и твой Мишка тоже не далеко ушел. Старый бабник!

Шарик встал с трудом, подошел к Марго, вяло гавкнул. Верка захохотала:

— Девочки! Маргоша! Эммочка! При Шарике Мишку ругать нельзя. Загрызет!

Шарик понял, что его похвалили, подошел к хозяйке, раскрыл черную на малиновой подкладке пасть, ожидая награды. Вера кинула кусок французского сыра.

Марго, угасив ярость крови, выпила рюмку коньяку:

— Мне, Вер, обидно, он что хотел делал, изменял направо-налево, а ты его любила, все прощала. Я бы его убила! Если у меня муж, я его люблю, а он мне изменит, я его зарежу к чертям собачьим!

Неужели в Америке, в другом свете, в городе Нью-Йорке, в одна тысяча девятьсот де-

вяностом году происходит глупейший этот разговор, бабий, кухонный, того и гляди до драки дойдет, — изумлялась Эмма, разглядывая старую свою подружку, которая почти не изменилась. Кем Марго была, тем и осталась — армянкой с азербайджанской фамилией, из-за которой армянская родня всю жизнь на нее косо смотрела. А отец, Гуссейнов Зарик, разбился в горах, когда Марго было всего шесть месяцев... Никуда не денешься, паспорт американский, а мозги все равно кавказские: всех накормит, все раздаст, а не поздравь ее с днем рождения, такой скандал поднимет, что до следующего года не забудешь... За-ре-жу!

— Марго, ты ничего не понимаешь! Дело только в тебе самой! Ты просто не умеешь любить! А когда любишь, то все прощаешь... Все-все...

— Но не до такой же степени! — взвизгнула Марго, встряхнула симметричными кудрями. — Не до такой!

Вера налила водки в стакан для воды, не полный, половину. В задумчивости держала его, смотрела на портрет наискосок от нее, и вроде как на нее обращен взгляд молодого

Мишки, с послевоенным чубом — таким она его не знала, позже познакомилась — от послевоенной, второй жены увела для своего, как казалось, единоличного употребления. И ошиблась, ой, как ошиблась! Он и к военной жене Зинке бегал, о чем она знала, и к послевоенной, Шурочке, и еще к одной... Она смотрела светлым взглядом на портрет, на Марго...

— Дурочка ты. Послушай. Я Мишку любила всеми своими силами, и телом, и душой. И он меня любил. Ты даже не понимаешь, как мы любили друг друга. Трезвыми любили и пьяными. И особенно — пьяными. Он был великий любовник. Он мне не изменял, он просто спал с другими бабами. И я его совершенно не ревновала. Ну, почти не ревновала, — поправилась она. — Только в молодые годы, пока не понимала... У него был талант любить. А когда этот цирроз на него накинулся, тут уж мы любили друг друга совсем без памяти, потому что времени почти не оставалось... Мы знали оба... Девчонка у него завелась в больнице, медсестра, влюбилась в него напоследок. А, да я все знаю, он и не скрывал. Переспал с ней. Потом говорит: нет, больше не хочу никого. Времени мало, выписывай меня, дома

буду умирать. С тобой. И трахались — до слез. Он все говорил: какой я счастливый — с семнадцати лет на фронте, с сорок третьего года — и выжил. Провоевал всю войну — никого не убил. В ремчасти был, танки ремонтировал... Бабы всегда любили. Сел в сорок девятом, из института взяли — вышел живой. И опять бабы любили. И ты, радость моя... так говорил — радость моя! И ты, радость моя, меня полюбила. Молодая, девчоночка совсем, вцепилась в старого козла, своего не упустила, умница... Дай, говорит, быстренько створочки потрогать... а коленочки какие, а плечики какие, не знаю, за что вперед хвататься... За два дня до смерти говорил... А мне-то уже за полтинник перевалило! Какие плечики, какие коленочки, ничего такого уж нет... Дура, дура ты, Марго, все ты проворонила, ничего не видела... Любить ты не умеешь, вот что, вот она, беда твоя. И Веник твой ни при чем! Ему не повезло, твоему Венику. Может, другая баба его полюбила бы и любить научила... Да что ты за баба, ботва одна...

Марго заплакала, сраженная пьяной правдой. Может... да? В ней дело было? Может, Веник и не пил бы, если б она его так люби-

ла, как Верка своего Мишку? Может, пил бы, но ее, Марго, страшно любил... И не было бы этого стыда и срама пьяных соитий, когда лежишь, исполненная ненависти, а на тебе девяносто килограмм дергаются, по сухому бьют, как на кол насаживают, и грудь в синяках, как после побоев, бурые следы потом год проходили. И вонь перегарная, и запах низа, от которого тошнота подкатывает, и качает, как в трюме, и только бы до сортира добежать, чтобы выблевать все в его сияющее белое нутро... Что? Мало? Еще тебе? Убери свой дрын ненасытный! Куда? Еще чего?

И Эмка тоже заплакала: что же она наделала? Гошенька! Я люблю тебя, как никого не любила! Как никто никого никогда... Нет, нет, не хочу никакой новой жизни. Пусть будет эта, с вечно пьяным Гошей, с ежедневным отчаянием, с тревогой, с ночными поездками туда-сюда, скорой помощью, со спасительной утренней четвертинкой, с горячим пирогом, в газеты укутанным. И с презрительным взглядом дочки: опять понеслась? И все — без надежды на какую-то нормальную жизнь, все — без отдачи, то есть без

признания, без благодарности, безо всякого расчета, просто отдаешь — и все!

— Просто отдаешь — и все! И не думаешь, что тебе взамен этого дадут! — декламировала Вера, сияя пьяным светом и утробной бабьей мудростью. И разливала по стаканам, а не по стопочкам хрустальным. И прикуривала одну от другой, и заталкивала недокуренную сигарету в огромную пепельницу, пригодную больше для общественной курилки, чем для домашних нужд одинокой вдовы. Погасила сигарету, встала во весь большой рост, покачнулась, схватилась за край стола, и стол покачнулся, но не упал. Удержалась. И пошла, скользя по полу, как по катку, хохоча, придерживаясь за стену, в уборную.

— Напилась Верка, — прокомментировала Марго, и немедленно из ванной раздался грохот и громкое восклицание: упало сразу несколько предметов, среди них один — крупный. Маргоша и Эмма вскочили — бежать на помощь, но как-то не побежалось. Они наткнулись друг на друга, сдержав неуместный бег, и неверно пошли в ванную комнату. Там, на полу, барахталась Верка, растирая знаменитую коленку и приговаривая:

— Вечно разбросают тут тряпок на полу, потом спотыкаешься... Маргоша, ну что ты, как корова, ей-богу, все флаконы мои перебила.

На полу и правда посверкивали мокрые стекляшки, и пахло духами, мощными, как противотанковый снаряд...

Верку подобрали с полу. Она немного буянила, но весело, и все требовала еще чуть-чуть добавить. Но бутылки все были пустыми — и обе водки, и коньяк, и ликер, и неизвестно откуда взявшаяся бутылка французского вина, которую выпили, не заметив ее выдающейся этикетки...

— Надо сделать обыск! У Мишки всегда было спрятано... В Москве, перед отъездом, гебешники делали обыск, так они бутылок спрятанных нашли больше, чем книг...

Вера открыла все ящики письменного стола:

— Правда, здесь я все обыскала уже не по разу... Но есть же где-нибудь! Мишенька! Ау! — обратилась она к портрету мужа, воздев длинные, слегка обвисшие в плечах руки.

Потом встала на колени, но не перед портретом, а перед книжным шкафом, отодвинула стекло и начала с нижней полки вытаски-

вать книги ползущими стопками. Оголила нижнюю полку — ничего там не было.

Эмма с Маргошей стояли, упершись друг в друга, как два склоненных друг к другу дерева, толстое и тонкое. Маргошу обуяла икота.

— Попить надо, — посоветовала Эмма.

— Да я ищу. Должно же быть где-то, — Вера лежала на полу, на спине, и сбрасывала книги ногой, уже со второй полки снизу. Одна книжка распалась надвое и звякнула. Книжкой она только прикидывалась, это была одна обложка, а в ней стояла бутылка, початая бутылка водки.

Вера схватила ее, прижала к груди:

— Мишенька! Дружок ты мой верный! От меня прятал! Да чего от меня прятать-то? Вот она я!

И они разлили эту последнюю водку, от Мишеньки привет, и больше пить уже не могли. Совершенно не могли. Потому что полны были алкоголем до самого края, до верхнего предела женской возможности. Верка, перед тем как отключиться, велела отвести ее в Мишкин кабинет и, пока ее вели туда, совершала свои последние пьяные признания, а может, и не признания, а только мечтания:

— А меня на кушеточку, к Мишеньке в кабинет. А я себе кавалера завела, пуэрториканского паренька, справный такой. Так я его непременно на эту кушеточку заваливаю. Здесь Мишкой пахнет. А Мишка смотрит, как он меня... тридцать пять лет ему, молодой... как он меня дерет... Мишка радуется... Радуйся, говорит, моя радость, радуйся! Вот как он говорит...

Маргоша потом долго вспоминала, говорила Верка про пуэрториканского любовника или по пьяному делу причудилось...

Верку взвалили на кушетку. Шарик, давно уже здесь храпевший, недовольно подвинулся, и Маргоша с Эммой отправились в спальню, где еще до начала праздника расстелена была для них супружеская постель, широкая, как Веркина русская душа, и такая же мягкая...

Марго, последняя порядочная женщина на континенте, которая еще носила кружевную комбинацию, целомудренно вытащив из-под нее лифчик, плюхнулась в ностальгическую перину, эмигрировавшую вместе с Веркой из московского пригорода, из Томилина, где и по сей день на таких же перинах спали Веркина ма-

маша и две старшие сестры. Эмма сняла с себя все, голая скользнула под простыню, и тотчас же все закачалось и начало проваливаться то в одну сторону, то в другую...

— Ой, как плохо, — простонала она.

— А кому хорошо? — отозвалась Маргоша. — Главное, ты не засыпай, пока не пройдет. Бедный Веник, неужели ему каждый день вот так плохо было?

— Еще хуже, — прошептала Эмма. — Утром всегда еще хуже, чем вечером. Бедный Гоша...

На Маргошу напала вдруг такая неизъяснимая нежность, непонятно даже к кому, чуть ли не к Венику Говеному, и она шмыгнула носом, потому что слезы готовы были поползти, и обняла Эмму за худую спину. Она была тонка, как рыбка, и такая же гладкая, только не мокрая, а, наоборот, сухая, как печенье, и скользила под рукой. И Маргоша начала гладить ее, сначала по спинке, потом немного по плечам, и на нее наплыла такая горячая, такая сильная волна, и понесла ее в неизведанном направлении... Эмка только стонала, все «ой» да «ой», но лежала тихонько, совсем не двигаясь, а Маргоша, приподнявшись, гладила

по незначительной груди и дивилась, почему так прелестно ее трогать, как будто все это подростковое тело только для глажки и сделано. Она приложилась губами к ее шее, и кожа ее пахла не взрывными Веркиными духами, от которых по всей квартире стоял смрад, как от горелого молока, а чем-то таким, от чего дух захватывает до самой сердцевины. Ну да, именно до сердцевины. И Маргоша чувствовала, как будто внутри живота у нее распускается какой-то цветок и стремится к Эмке, и она плавилась от наслаждения, и прикоснулась к Эмкиной груди сначала губами, а потом пальцами нежно, около кнопки соска...

А Эмка стонала, плыла неизвестно где, и желудок ее качался отдельно, и очень хотелось блевать, но для этого надо было остановиться, сделать какое-то усилие, но качка была такая сильная — не остановишь... А что чьи-то руки ее гладили, она не чувствовала, все ощущения сосредоточились в желудке и немного в горле...

А цветок Маргошин набухал и готов был вот-вот раскрыться, она прижалась животом к Эмкиному боку, а пальцы ее наслаждались прикосновением к плотной Эмкиной груди... такая плотная железа... нижняя доля паль-

пируется... и тяж вверх к соску... и слева — второй... уплотнение, и еще одно... классическая картина.... канцер! Можно без биопсии — на стол. Маргошу подбросило.

— Эмка! — заорала она. — Эмка, вставай! Вставай немедленно!

Хмель слетел, как не бывало. Все слетело... Она стояла в желтой кружевной комбинации, с обвисшими и совершенно здоровыми грудями, маммографию два раза в год делала, как цивилизованная женщина, подхватила Эмку под мышки, устанавливала ее на тряпичные ноги, трясла и продолжала орать:

— Да стой ты, чертова кукла! Ровно стой! Руки разведи вот так! Да подмышки мне твои нужны, а не локти! Плечо держи!

И цепкими пальцами впивалась в сухую подмышечную впадину, влезала в самую глубину — лимфатическая железа слева была уплотнена, увеличена, но не очень сильно. Справа железа была спокойная. Нажала на левый сосок.

— Ой! — отозвалась Эмма.

— Больно?

— А ты думала... — буркнула Эмка и завалилась на кровать.

Пальцы у Маргоши стали влажными.

— Слушай, у тебя выделения из соска давно?

— Отстань, меня и так тошнит. Дай попить.

Маргоша поволокла ее в ванную. Эмму вырвало. Потом она пописала. Потом Марго запихала ее под холодный душ. Сегодня в клинике дежурил Мортон, самый лучший из врачей. Старик опытный и симпатяга. Повезло.

Марго вытащила Эмку из-под душа. Та смотрела совершенно осмысленно.

— Быстро собирайся, едем ко мне в клинику.

— Маргоша, ты с ума сошла, что ли? Никуда не поеду. У меня сегодня выходной.

— У меня тоже. Быстро собирайся. У тебя в молочной железе черт-те что. Срочно надо проверить.

Эмка сразу все поняла. Сдернула с вешалки полотенце, вытерлась насухо. Потыкала пальцем в левую грудь.

— Здесь?

Маргоша кивнула.

— Чайник поставь и не пори горячки. Как ты думаешь, если я в Москву позвоню, это очень дорого?

— Звони. Знаешь, как набирать?

Марго принесла трубку. Эмма набрала код, потом московский номер. Гоша долго не подходил.

— Который там сейчас час? — опомнилась Эмма.

— Здесь полшестого, плюс восемь. Полвторого, — вычислила Марго.

— Гоша! Гошенька! — заорала Эмка. — Это я! Эмма! Да, из Нью-Йорка! Я все отменяю! Я наш развод отменяю! Это глупость была. Прости меня! Я тебя люблю! Ты что, совсем пьяный? И я! И я тоже! Я скоро приеду! Ты только люби меня, Гоша! И не пей! Я хочу сказать — много не пей!

— Мне полчаса надо, чтоб собраться. Нет, сорок пять минут. Я такси на шесть пятнадцать заказываю, — и Марго взяла трубку из Эмминых рук.

— Слушай, а зачем такая спешка? Что, правда, так срочно?

— Срочнее некуда.

В дверях стоял Шарик, которому по старческому делу сильно приспичило. Стоял и ждал и улыбался, вывалив умильно язык. До прихода такси надо было этого старого дурака вывести...

ПЕРЛОВЫЙ СУП

Почему ранняя память зацепилась трижды за этот самый перловый суп? Он был действительно жемчужно-серый, с розоватым, в сторону моркови, переливом и дополнительным перламутровым мерцанием круглой сахарной косточки, полузатопленной в кастрюле.

Вечером, после запоздалого обеда, мама перелила часть супа в помятый солдатский котелок и дала его мне в руки. Я спускалась по лестнице со второго этажа одна, а мама стояла в дверях квартиры и ждала. Эта картина осталась у меня почему-то в этом странном ракурсе, сверху и чуть сбоку: по лестнице осторожно спускается девочка лет четырех в темно-синем фланелевом платье с клетчатым воротничком, в белом фартучке с вышитой на груди кошкой — в одежде, соот-

ветствующей дореволюционным идеалам моей бабушки, полагающей, что фартук именно потому должен быть белым, что на темном грязь плохо видна, — коротенькая толстая косичка неудобно утыкается сзади в шею, но поправить невозможно, потому что в одной руке теплый котелок с супом, а другой я держусь за чугунные стойки перил.

Туфли на пуговицах немного скользят по стертым ступеням, и потому я иду младенческими приставными шагами, с большой опаской.

Я спускаюсь на марш, поворачиваюсь, вижу маму, которая терпеливо ждет меня в дверях и улыбается своей чудесной улыбкой, от которой красота ее немного портится.

Я вздыхаю и продолжаю спуск. Внизу, под лестницей, в каморе, живет пара нищих, костлявый носатый Иван Семенович и маленькая старушка по прозвищу Беретка. Я их боюсь и брезгаю, но мама, как мне кажется, об этом знать не должна.

Под лестницей нет электричества, иногда у них горит керосиновая лампа, иногда совсем темно. Обыкновенно Иван Семенович лежит на какой-то лежанке, покрытой тря-

ньем, а Беретка, в вытертом бархатном пальто и серо-зеленой вязаной беретке, сидит у него в ногах.

Я стучу. Никто не отзывается. Спиной я открываю дверь. Керосиновая лампа выдает мне Беретку, которую без головного убора я сначала не узнаю. Оказывается, она лысая, вернее, не совсем лысая: и лицо и голова ее покрыты одинаковыми редкими длинными волосами и крупными коричневыми родинками. Она жалко улыбается и суетливо натягивает на лысую голову берет:

— Ой, детка, это ты, а я и не слышу...

Я отдаю ей котелок, из кармана фартука вынимаю два куска хлеба и говорю почему-то «спасибо».

Беретка переливает суп из котелка в банку и бормочет что-то неразборчивое, похоже на «мыло, мыло».

Сухой грязной рукой возвращает мне котелок. Старик кашляет. Беретка кричит ему:

— Иван Семенович! Вам покушать прислали, вставайте!

Пахнет у них ужасно.

С облегчением бегу я вверх по лестнице, мама стоит на свету, в дверном проеме, и улы-

бается мне. Она в белом фартуке, даже с кружевной ленточкой на груди. Мама красивая, как принцесса. Одно только смущает: кажется, у принцесс белокурые волосы, а у мамы веселые черные кудряшки, подхваченные сзади двумя заколками...

Нищие исчезли незадолго до праздника, который я запомнила очень хорошо. Отец вел меня за руку по парадному городу, и повсюду были выставлены косые красные кресты. Я начинала тогда разбирать буквы и спросила у отца, почему всюду написано «ХА-ХА-ХА...». Он раздраженно дернул меня за руку, а потом объяснил, что эти косые кресты означают еще цифру тридцать.

Вечером того же дня, уже лежа в постели, я слышала, как мама говорит отцу:

— Нет, не понимаю, отказываюсь понимать, кому они мешали...

— Город к празднику почистили... — объяснил ей отец.

Во второй истории перловый суп не был главным действующим лицом, а лишь скромно мелькнул на заднем плане.

Воскресным утром в дверь позвонили. Один раз, а потом еще один. Дверь в нашу комнату была первой по коридору. Один звонок был общий, два — к нам, три — к Цветковым... восемь — к Кошкиным.

— Вероятно, это общий, — пробормотала мама. Коленями она стояла на стуле, а локтями упиралась в стол. Таблицы с синими, красными и взятыми в кружок цифрами лежали перед ней. Две мелкие морщины образовывали между бровей деревце, когда она работала.

Она спрыгнула со стула и, все еще неся напряжение мысли на круглом умном лобике, пошла открывать.

Огромная темная женщина стояла в дверном проеме. На ней был длинный военный плащ до полу, ярко белел пробор на круглой толстой голове.

Мама смотрела на нее выжидающе, и тетка не обманула ожидания: она распахнула плащ и предъявила огромное голое тело. У меня дыхание перехватило от этого зрелища: грудь низко свисала и оканчивалась большими, чуть не с чайное блюдце сосками, пупок был размером с чашку, выпуклый и тоже

темный, глубокий неровный шов шел поперек живота, над треугольной бородкой вытертых во́лос, и все вместе это было каким-то страшным великанским лицом, а не женским телом.

— Погорельцы мы! Все-все погорело... как есть... — сказала женщина немосковским мягким голосом и запахнула ужасный лик своего тела.

— Ой, да вы заходите, заходите, — пригласила мама, и женщина, озираясь, вошла.

Прихожая нашей многосемейной квартиры была заставлена сундуками, корытами, дровами и шкафами.

— Я сейчас, сейчас, — заторопилась вдруг мама. — Да вы сядьте, — и мама сняла ящик с венского стула, который был втиснут между Цветковским сундуком и тищенковской этажеркой.

Мама кинулась в комнату, вытянула нижний ящик шкафа, села перед ним и стала выбирать из старого белья подходящее для погорелицы. Две длинноногие пары дедовых кальсон бросила она на пол и побежала на кухню. Разожгла примус, поставила на него кастрюлю и снова метнулась в комнату.

Женщина сидела на стуле и все разглядывала рогатую вешалку Кудриных, на которой висели ватник и шинель.

А мама выбросила все с полок шкафа и быстрыми пальчиками перебирала свои тряпки. Мама была маленького роста, и все ее вещи были маленькие, но она нашла то, что искала, — бабушкину коверкотовую юбку и старинную огромную рубаху из пожелтевшего батиста.

И снова мама побежала на кухню, а я понеслась за ней, потому что боялась остаться наедине с тем великаном, что был спрятан у тетки под плащом.

Сосед Цветков высунулся в коридор.

— Погорельцы вот, — сказала ему мама виноватым голосом, но он быстро захлопнул свою дверь.

Мама налила большую миску переливчатого перлового супа, отрезала кусок серого хлеба и вынесла погорелице.

— Вот покушайте пока, — попросила мама тетку, и тетка приняла миску. — Ой, да так неудобно, — всполошилась мама и притащила газету. Постелила ее на покрытый

сине-красным ковром Цветковский сундук, усадила женщину как бы к столу.

— Дай тебе Бог здоровья, — сказала женщина и принялась за суп.

А я наблюдала сквозь щель неплотно прикрытой двери, как лениво она ест перловый суп, бросая в него кусочки хлеба, скучно водя ложкой в миске и посматривая по сторонам.

Зубов у нее не было.

«Видно, и зубы сгорели, — подумала я. И еще: — Она тоже не любит перловый суп».

А мама засовывала в узел шелковое трико лососинового цвета с луковыми заплатами и говорила тихонько не то мне, не то самой себе:

— Господи, ну надо же такое, чтоб прямо голой, на улицу...

А женщина доела суп, поставила миску на пол... встала, распахнула плащ... глаз я не могла отвести от ее страшных тихих движений.

Наконец мама выволокла узел в коридор:

— Вот. Собрала... Да вы оденьтесь, оденьтесь. У нас ванная комната есть, — предложила мама.

Но женщина отклонила предложение:

— Детки меня ждут... Мне бы деньжонок сколько-нибудь... — А мама уже вынима-

ла сложенную в четыре раза тридцатку. — Спасибо, век вашу доброту не забуду, — поблагодарила женщина скороговоркой, и мама закрыла за ней дверь.

Потом, собирая с полу разбросанные вещи, мама говорила мне в некотором недоумении:

— А штаны сразу могла бы надеть, правда?

Я не сразу ответила, потому что мне кое-что надо было обдумать и понять.

— Штаны холодные, — сообразила я наконец, — а ковер теплый.

Было солнечно и снежно, с детьми в такую погоду полагалось гулять.

— Может, погуляешь сама под окошечком? — извиняющимся голосом предложила мама, кося на свои таблицы.

Я согласилась великодушно. Мама бросила в меня ворохом шерстяной одежды — кофтами, рейтузами, варежками и носочками. Меня снарядили, подвязали поясом желтую плюшевую шубу, сшитую бабушкой из старого покрывала, желтую шапку из того же самого покрывала застегнули под подбородком, дали лопату и синее ведрецо и вывели на лест-

ницу... Прямо перед нашей дверью лежала разворошенная куча маминых вещей. И бедные отвергнутые трико лежали сверху.

— Ой, что же это... — пролепетала моя маленькая мамочка.

— Я же тебе говорю, штаны-то холодные, а ковер теплый... — все пыталась я объяснить маме положение вещей.

— Да какой ковер? — наконец услышала меня мама.

— Тот, что на сундуке лежал... Она его на себя надела, — объяснила я несмышленой маме.

И тогда мама вдруг всплеснула руками и захохотала:

— Ой, что же я наделала! Ну, Цветкова меня убьет!..

Моя мама была биохимиком, и любовь ее к восхитительно стеклянной науке происходила, вероятно, из того же милого женского корня, откуда произрастает любовь к стряпне. Как мне нравилось в детстве бывать в маминой лаборатории, разглядывать на высоких столах штабеля пробирок с разноцветными растворами, стройные, с птичьими носами бюретки, тол-

стые темные бутыли. И как же ловко мама управлялась со всем этим сверкающим стеклом... Готовила мама тоже преотлично. И соуса, и пироги, и кремы... Дался же мне этот перловый суп! Не так уж часто мама его варила. Но в тот день был как раз перловый...

С колючим шарфом на шее я сидела в кухне на маленькой скамеечке и смотрела, как мама что-то химичит. Еще две соседки копошились у своих столов, мелко гремели посудой, звякали ножами.

И тут в кухню вошла Надежда Ивановна. Странная была старуха, вся в разноцветных заплатах. И на одном глазу, тоже вроде неуместной заплаты, сидело бельмо. Молча потянула она маму за рукав, и мама, бросив морковку и вытирая на ходу руки, мелкой своей походочкой пошла за ней, встревоженно спрашивая:

— Что? Что? С Ниной?

Нина была дочь Надежды Ивановны, взрослая девушка, тяжелая сердечница с ракушечными голубыми ногтями и синими губами, плохо закрашенными красной помадой.

Я было двинулась за мамой, но она почти грубо махнула мне рукой:

— Сиди здесь.

И я осталась сидеть, обиженно перебирая кисточки кусачего шарфа. Соседки, на минуту оторвавшись от хозяйства, снова застучали и загремели. Потом одна ушла со стопкой чистых тарелок, а вторая пошла отвечать по телефону, который был привинчен к стене в другом конце коридора.

Я сидела довольно долго, успела сплести все кисточки в одну перепутанную косичку.

А потом мама и Надежда Ивановна вернулись. Что-то переменилось. Они шли медленно. Мама, взявши соседку за плечо, усадила ее на табурет. Лицо Надежды Ивановны было неподвижное, белое, казалось, что у нее не одно бельмо, а два. В руке она держала картонный футляр от градусника. Мама ей тихо говорила:

— Мы сейчас валерьянки... валерьяночки... Надежда Ивановна...

— А если «скорую», так ведь увезут... — не меняя неподвижного лица, говорила соседка. И совсем невпопад: — А я думаю, спит-то как спокойно...

— Сейчас, сейчас... Позвоним... все сделаем, Надежда Ивановна, — торопливо говорила мама, громко капая в рюмку.

А соседка в коридоре кричала в телефон:

— Это тебе не отдел снабжения, Шура, ты имей в виду... Пусть заявку пишет, от меня не дождетесь!

Надежда Ивановна отвела мамину руку с протянутой рюмочкой и с лицом, как будто вдруг проснувшимся, сказала маме:

— Марина Борисовна, налей-ка ты мне тарелку супчику...

Мама заметалась, вытащила из-под меня скамеечку, потому что красивые тарелки стояли на верхней полке и она до них не доставала. Налила в белую фаянсовую тарелку с выпуклыми квадратиками по краю серебристого и переливчатого перлового супа, поставила тарелку на край кухонного стола. Вытерла серебряную ложку с тонким черенком свежим полотенцем и подала соседке.

— И ты поешь со мной, Марина Борисовна, — попросила Надежда Ивановна, и мама протерла еще одну ложку и, придвинув вторую табуретку, села рядом с одноглазой старухой и запустила ложку в ту же самую тарелку.

Мне очень хотелось сказать этой старухе, что мамочка моя никакая не Марина, что ее

зовут Мириам, но сказать я не могла ничего, потому что они ели из одной тарелки, и слезы текли по лицу Надежды Ивановны, и не только из живого, но и из белого, неживого глаза, и по маминому лицу тоже текли слезы.

— Вкусный ты суп варишь, Марина Борисовна, — сказала Надежда Ивановна. — И чего ты в него ложишь?

Она последний раз облизнула ложку и положила ее рядом с тарелкой:

— Спасибо тебе. Отмучилась моя доченька.

...Давно никого нет. Нины, Надежды Ивановны. Мамы уже двадцать лет как нет. И перловый суп я никогда не варю.

Содержание

РАССКАЗЫ

ОРЛОВЫ-СОКОЛОВЫ 3
ЗВЕРЬ 37
ПИКОВАЯ ДАМА 67
ГОЛУБЧИК 125
ЦЮ-ЮРИХЬ 155
ЖЕНЩИНЫ РУССКИХ СЕЛЕНИЙ 212
ПЕРЛОВЫЙ СУП 241

Литературно-художественное издание

Улицкая Людмила Евгеньевна

ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ

ООО «Издательство «Эксмо».
107078, Москва, Орликов пер., д. 6.
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@ eksmo.ru

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламное агентство «Эксмо». Тел. 234-38-00

Книга — почтой: **Книжный клуб «Эксмо»**
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@ eksmo.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
Многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1.
Тел./факс: (095) 932-74-71

Книжный магазин издательства «Эксмо»
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)
Тел. 194-97-86.

Северо-Западная Компания представляет весь ассортимент книг издательства «Эксмо».
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е
Тел. отдела рекламы (812) 265-44-80/81/82/83.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 22.10.2002.
Формат 70x90 $^{1}/_{32}$. Печать офсетная.
Бум. офс. Усл. печ. л. 9,36.

Тираж 10 000 экз. Зак. № 6414.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина,109.

ISBN 5-699-01522-1

Голос Людмилы Улицкой — талантливого рассказчика — неповторим и одновременно узнаваем и в книге «Первые и последние», которую составили новые рассказы плодотворно и успешно работающего прозаика.